

Культура и современность

Заметки на полях

Т. Р.— «Последовательность Паркинсона» 222

Публицистика

София-79: мир — надежда планеты

Из материалов второй Международной писательской встречи 225

Наши публикации

ЦЮЙ ЦЮБО — Вперед, в Красную столицу! (Из книги «Путевые заметки о новой России», 1922 г. Перевод с китайского и вступление М. Шнейдера) 244

Антирубрика

ВИДИА НАЙПОЛ — Записки ночного портье (Перевод с английского Люды Бингеман) 251

Наши гости

Г. Смирнов — Альдо Де Яко, Элио Филиппо Аккротта (Италия) 255

С. Ильинская — Василис Василикос (Греция) 257

Среди книг

Издано в СССР

В. Коркин — Выразить невыразимое ♦ А. Бочаров — Грустная улыбка Делибеса ♦ Воображение и реальность (Интервью Бернара Клавеля) 259

Издано за рубежом

Н. Литвинец — Монолог рабочего Пауля ♦ Г. Ратгауз — Два поэта ♦ Л. Черкасский — Новая поэма Ай Цина ♦ В. Валицкий — Пекин и научная фантастика ♦ Д. Затонский — Почему Зигмунд Рогалла сжег свой музей? 264

Из месяца в месяц

272

Авторы этого номера

287

На обложке: панно «Человек и пространство». Работа коллектива авторов под руководством профессора ВАЛЬТЕРА ВОМАКИ (ГДР).

© «Иностранная литература», 1979.



МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ

Солдат и женщина

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого С. ФРИДЛЯНД

Несколько слов от автора советским читателям

Мне повезло в жизни. Будучи немцем 1921 года рождения, я впервые вступил на землю легендарного и героического города на Волге лишь в 1974 году. Но в подобном везении нет моей заслуги. Я вполне мог вступить на землю этого города тридцатью двумя годами раньше. Подчиняясь приказу. Как оккупант. Я был далекое «я» мог-ло уже давно обратиться в прах и порастить травой забвения и справедливости.

По-настоящему мне повезло после войны, когда я получил возможность по-новому, с антифашистских позиций взглянуть на мир, научился этому сам и начал учить других. По-настоящему мне повезло потому, что я помогал строить другую, социалистическую Германию. И тем не менее: здесь, на волжском берегу, где произошло решающее сражение войны, передо мной еще раз мучительным видением встало то мое далекое «я», тот глупый, правоверный вояка. На берегу, перед лестницей, у мельницы, на Мамаевом кургане мне все чудилось, будто я слышу, как немецкие глотки горланят песню:

Когда нас флаг зовет вперед,
Плевать, куда наш путь ведет...

Ни одному человеку не дано полностью зачеркнуть какую-то часть своей прежней жизни, даже когда его теперешние взгляды диаметрально противоположны прежним. С этими мыслями я спустился с Мамаева кургана, окруженный людьми, для которых эта война была войной за правое дело и которые были приветливы со мной. Я же был одновременно и то, далекое «я» и это, близкое, я был членом делегации зарубежных гостей, приехавших на празднование сорокалетия со дня образования Союза советских писателей. Человек из Москвы, которого я хорошо знаю и который хорошо знает мою жизнь, шел рядом со мной. Возможно, он почувствовал, что творится в душе его немецкого спутника. Он сказал: «Не забудь про ступеньки». А больше ничего не сказал.

Уже перед самым отъездом из города я услышал рассказ — без имен, без подробностей — о женщине из разоренной деревни, которая вытребовала себе немецкого военнопленного как рабочую силу, а впоследствии вышла за него замуж. Должен признаться, этот рассказ избавил меня от внезапно нахлынувших видений прошлого. Но я понимал, что немногие известные мне факты, которые скорее мешают, нежели помогают понять необычные, нетипические судьбы, для советских людей могут прозвучать совсем иначе, чем для меня.

Вернувшись в Москву, я рассказал обо всем Константину Симонову. Он согласился со мной, что эта история и в самом деле может породить двойные отклики, независимо от литературно-эстетической подачи материала. И посоветовал, если я решаю излагать эту историю, излагать ее вольно, не доискиваясь прототипов. Я последовал его совету, не предпринимая дальнейших изысканий. Я рассказал все так, как это могло бы произойти. Возможно, я руководствовался лишь своими субъективными представлениями. Возможно, я порой сохранял верность действительности, порой вольно с ней обращался.

Иностран. лит-ра 10/1979
М. В. Шульц С 3-75

И все время, пока я писал, в ушах у меня звучали слова моего спутника, сказанные на Мамаевом кургане: «Не забудь про ступеньки».

Июль 1979 года.

МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ

Соотнесение времен

Среди обычного зимнего дня как-то неожиданно кончилось большое сражение. Едва отгремели последние залпы, так же неожиданно встала из речной долины, спустилась с изрытых холмов, проплывала вместе с облаками по недостижимо высокому небу над истрепанным городом глубокая тишина.

Еще не ушли с позиций солдаты, а тишина уже затопила окопы, бункеры, огневые точки между развалин. Тот, кто оглядывался, уходя, с удивлением замечал, что за его спиной все переменялось, что глубокая тишина, единственно дающая нам возможность ощутить время, уже бесповоротно обратила в прошлое все, что еще мгновение назад вполне принадлежало настоящему, что можно было потрогать руками, что было тысячекратно до последней мелочи видно и в бинокль и невооруженным глазом. Тот же, кто оглядывался вторично, сразу или немного погодя, кто не довольствовался удивлением, которое вызывает у нас безмолвная власть времени, тот видел лишь, что время, подобно прибою, подымающемуся из неведомых глубин, бьется о берега нашей жизни, что ни одна волна не похожа на другую, что ни одному чувству, ни одному впечатлению не дано повториться в точности.

Далеко в степи, где скоро уже три месяца, как сомкнулось в конце ноября кольцо вокруг немцев, где за несколько дней немецкий фронт понес на всем протяжении огромные потери, до сих пор в стороне от накатанных дорог лежали под открытым небом или под снегом убитые немцы. Вот сюда-то, в края, пораженные разрухой, голодом и холодом, были направлены поисковые и похоронные команды. Команды эти состояли из военнопленных, охрана при них была минимальная, и по сути дела они были предоставлены самим себе. Каждая отвечала за свой участок. На очистку его отводилось, смотря по размерам, от двух до трех недель. Снабжали их, в зависимости от отведенных сроков, одинаковым пайком и для конвоиров, и для арестантов. Пленные говорили по этому поводу, что у кого дырки в зубах, тому и глотать нечего — все в дырках остается. Закоченевшие трупы часто имели при себе подорожную, порой — это бывало реже — энциклопедия из банки свиного жира, чаще кусок заплесневелого хлеба либо позеленевшие крошки соевого шоколада, истлевшие сигареты, потерявшие цвет кислые леденцы. В нагрудных карманах, в запечатанных мешках попадались деньги, ни на что уже не годные, кроме как на закрутку. Находили они также ручное оружие, боеприпасы, гранаты. Всякого, кто подбирал оружие и прятал его под одеждой либо где-нибудь в другом месте, конвоиры имели право расстрелять без суда и следствия. Пленных ознакомили с этим правом, и своей подписанием они подтверждали, что признают его.

В команде старшины от работы никто не отлынивал, ежедневную норму — пятнадцать километров, независимо от погоды, от большего либо, наоборот, меньшего количества найденных «объектов», — соблюдали строго, все подлежащее отправке отправлялось, все подлежащее дележке точно делилось. Старшина, человек лет сорока, приземи-

стый, подвижный как мальчишка, с лицом, задубевшим от сибирских морозов, был сама справедливость. Он требовал для себя единственной привилегии — ежедневно бриться самым тщательным образом. Его заместитель и единственный солдат, молодой, долговязый парнишка, чтит старшину как родного отца, а четверых пленных, составлявших команду, хотя те работали не за страх, а за совесть, ненавидел лютой ненавистью, как убежденных фашистов. Вот старшино просто вынуждены сейчас подчиняться обстоятельствам. Вот старшина, тот не стриг всех немцев под одну гребенку. Его инстинктивная неприязнь была адресована офицерам и тем людям, в которых он угадывал образованных либо «начальство», пусть даже образованные выглядели жалко и беспомощно, пусть даже «начальство» больше было лучше во всем разбираться, иначе себя вести, другими словами — выступать против войны. Ведь знание помогает человеку стать хозяином своей судьбы. У четверых ефрейторов, которых старшина отобрал по своему вкусу для своей команды, были, на его взгляд, не «культурные», а простые немецкие лица и, может, даже человеческие души. А впрочем, черт их всех разберет.

В снаряжение команды входила лошадь и фура. Фура на высоких колесах, удлинённая — немцы окрестили ее «кафе-мороженое», — имела над осью прикрепленный гвоздями ящик с замком. Под осью болталось жестяное ведро. В ящике старшина хранил паек: хлеб, соль, чай, крупы, тушенку. Там же взрывчатка для мотыги: динамитные патроны, запальные шнуры, найденные гранаты. Там же всякая снасть для захоронения и ломы. Там же найденное оружие: пистолеты, автоматы, а от карабинов только замки. Противогазные сумки, набитые подобранными личными знаками. На ящике лежали два мешка с кормом для лошади, прикрытые одеялами и промерзшими, негущимися палатками, и все это было перехвачено веревкой.

Один из пленных умело обращался с лошадью, косматым тяжеловозом. С легкой руки старшины жеребец отзывался на кличку «Арестант». Может, потому, что все время норовил ударить, а может, и потому, что обладал поистине фантастическим нюхом на все маломальски пригодное в пищу и, чтобы убажить свою ненасытную утробу, готов был без зазрения совести отмахивать десятки километров — что и подтвердилось в один прекрасный день. Утолив до некоторой степени свой голод, Арестант даже обнаруживал известную смекалку: без возницы и без окрика двигался вместе с широко рассыпавшейся группой, огибал заносы, сам останавливался, как только видел, что люди остановились. Тому из пленных, который умел с ним обращаться, достаточно было его окликнуть, и Арестант покорно трусил туда, где был обнаружен «объект», подлежащий погрузке. Но однажды — если точно, это было на девятый день их работы, ранним утром, когда на фуре еще ничего не лежало, — жеребец вдруг свернул с дороги и припустил рысью наискось, через поле, таща за собой пустую фуру. Тому немцу, что разбирался в лошадях, старшина велел задержать Арестанта и коротко подвязать вожжи. Немец и без того уже бежал за лошадью, пытаясь остановить ее свистом. Нечего было и думать о том, чтобы догнать ее, хотя бы потому, что на нем была тяжелая шинель да еще шерстяные лоскутья и всякое тряпье, которым он за наименьшим бельем обмотал тело под кителем и под брюками, скрепив все это телефонным кабелем. Жеребец остановился, подождал человека, позволил даже взять себя за поводья, но на этом все послушание кончилось. Конь уперся, широко расставив передние ноги, и решительно не желал поворачивать. Человек влез на фуру и опустил поводья в надежде, что конь скоро устанет и образумится.

МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ ■ СОЛДАТ И ЖЕНЩИНА

Не такая уж это была откормленная животины. Когда фура дернулась и конь почти сразу припустил рысью, немец услышал мальчишеский голос молодого солдата. Он повернул голову. Солдат глялся за ним, кричал, яростно махал руками, приказывая остановиться. Пленный описал рукой круг. Тогда молодой солдат выстрелил в воздух. Жеребец навострил уши. Теперь с ним вообще нельзя было совладать. Немец не мог больше устоять на ногах, он прислонился к косякам — высокому ящику — и ехал дальше полустоя, полусидя. Молодой солдат выстрелил еще раз. При желании ему бы ничего не стоило попасть. Тем более что мишень не искала укрытия. А тягеловоз, закинув голову, мчал как одержимый в неизвестном направлении, и попытка весело цокала по смерзшейся, словно камень, земле.

Человеку на телеге чудилось, будто отныне и навсегда он свободен, будто лошадь послушна только его воле, будто никогда вперед не станет он седлать коней и держать стремя для их благородий, не станет натирать целебной мазью толстые задницы и толстые ляжки высокородных сопляков, которые наезжают к ним в имение и любят повторять, что, мол, «счастье для людей — на спине у лошадей». И сыну моему, так думал человек, этого тоже не придется делать, если, конечно, парень выберется живой из заварухи. Господская печка скоро догорит. Слишком многое они здесь кинули в ее огонь. Трудно сказать, к добру это или к худу, что Мария может больше не тревожиться за сына, хотя сын на фронте, да и по характеру сорвиголова. Мария уже свое оттревожилась. Ядовитые испарения в красильном цеху. Господин барон отлично знал, что у Марии слабые легкие с молодых лет. Он не должен был отпускать Марию на оружейный завод. А груди у Марии всегда были высокие и упругие. Молодая барыня ей даже завидовала. Перед тем как уснуть, Мария всегда просила, чтобы я положила руку ей на грудь. Тогда, говорила Мария, ей привидится во сне гнедой жеребенок, как он к ней подходит и дотрагивается до нее своими мягкими губами.

Выстрел вспугнул его воспоминания. Пуля просвистела мимо головы. Но стреляла спереди. По военной привычке человек бросился ничком на дно телеги и натянул вожжи. Жеребец и здесь не повиновался, а знай себе мчал вперед, туда, откуда прилетела пуля. Перед ними возник кирпичный домик с односкатной жестяной крышей. Из кургузой трубы поднимался белый дым — чадили сырые дрова. Домик был с навесом, а под навесом стояла женщина. Винтовка прижата к бедру, палец на спусковом крючке, дуло нацелено точно в лежащего на фуру человека в немецкой шинели и немецкой кепке, оно так близко, что, когда человек поднял голову, его глаза глянули прямо в дуло. Должно быть, лошадь и побежала на дым. Немного не доходя до хижины, она перешла на шаг, а под навесом вовсе остановилась. Там лежало сено, которое она и принялась хрупать, вытянув шею. Теперь женщина должна бы разглядеть буквы на спине шинели, это ведь русские буквы, большие, написанные масляной краской. Не станет же она бояться военнопленного. Он услышал, как женщина выкрикивает какие-то отрывистые слова, и понял, что она велит ему сойти на землю. Он повиновался охотно, хотя и не спеша. Когда женщина сплюнула перед ним на землю, он заметил, что жеребец не просто так, а с разбором выдергивает из утрамбованного сена травинки. Когда же он поднял руки вверх и женщина начала ложем приклада простукивать его тело в поисках спрятанного оружия, просто и грубо тыча куда придется, без малейших признаков стыдливости, в открытой двери домика возникла фигура другой женщины, постарше, и щуплого парнишки со всплохоченными светлыми волосами. Мальчик тоже целился в него из винтовки, и глаза его казались желтыми от

ненависти. Пожилая женщина не могла скрыть страх. Сперва она хотела успокоить мальчика, положить руку ему на плечо, но потом отдернула руку. Человеку вторично пришлось вытерпеть этот бесперспективный обыск, предварительно расстегнув шинель. По требованию мальчика старуха сдернула шинель у него с плеч. Про себя человек возблагодарил свое толстое «белье». Приклад уткнулся в нагрудный карман его кителя и обнаружил там что-то твердое, металлическое. Ради этого открытия женщина могла бы и не так свирепо тыкать ему прикладом в грудь. Она могла бы увидеть, что карман чем-то набит. Женщина сделала несколько шагов назад, мальчонка — несколько шагов вперед, и оба держали человека под прицелом, пока он выворачивал карманы и демонстрировал их содержимое: жестяную коробку и тяжелую зажигалку, которую смастерил из двухсантиметровой гильзы. Старуха должна была опробовать найденное. Зажигалка так и оказалась зажигалкой, она не выщелкивала, она выбрасывала пламя, большой, дымный язык пламени, тотчас, с первого раза, едва старуха крутанула колесиком. Мальчик с жадностью глядел на все это. Человека удивила женщина помоложе, та не задула пламя, а загасила его подушечкой большого пальца. Ну и баба! В темной, беззаконной глубине домика горел огонь, и выглядело это так, словно горит он в кузнечной печи. Не исключено, что домик был раньше полевой кузницы. Может, в этих краях когда-то ходили табуны лошадей. Простора здесь хватает. Но откуда тогда взялись женщины? До сих пор их команда не встретила на своем пути ни одной живой души.

В жестяной банке человек хранил остатки табака-сечки, несколько гвоздей различной длины (человек с понятием всегда может смастерить из гвоздей какой-нибудь инструмент) и три завернутых в бумажку куска сахара из кафе в прекрасном городе Праге. От кого-то он слышал, что когда не останется совсем никакой еды, три кусочка сахара могут продлить жизнь еще на три дня. До сих пор человек не проронил ни звука. Женщина помоложе перебрисалась несколькими словами с той, что постарше. Быстрые, недоверчивые сло-во-слово женщина указывала на колодец. Затем молодая дала ему в руки один из трех кусочков и жестами потребовала, чтобы он его съел. Она явно думает, что перед ней отравитель колодцев. Человек бережно снял обертку, чтобы ни крошки не пропало даром, потом отправил и кусок, и крошки себе в рот, на язык. Они заставили его раскрыть рот, чтобы посмотреть, не схитрил ли он. Затем молодая на своем резком и малопонятном языке пожелала, судя по всему, узнать, где находится его команда. Человек кивнул на жеребца, который все так же, с разбором, выдергивал сено, потом указал в направлении, откуда он прибыл вместе с жеребцом и фурой. Женщины снова посоветовались. Похоже было, что теперь они говорят про лошадь. Уж лучше надеть шинель, не то, кто их знает, еще и до шинели доберутся. Одно-му богу известно, до чего бы договорились обе женщины, не возникни на горизонте фигура молодого солдата. Тот что-то орал не своим голосом. Время, которое понадобилось солдату, чтобы преодолеть расстояние, их разделяющее, мальчуган — он явно имел какое-то отношение к обеим женщинам — использовал для того, чтобы выцганить у старшей зажигалку и коробку с табаком. Коробка была как-никак из медной жести. Зажигалка вообще привлекла мальчика с первой же минуты, а что до жестяной коробки, его, надо думать, соблазнила яркая картинка на крышке, изображавшая сбор табака в Бразилии. Старый хозяин любил этот сорт черных бразильских сигарет. В прошлом году, когда человеку дали десять дней отпуска, чтобы похоронить жену, причем на это же время пришелся сорок первый год его рождения, старик самолично презентовал ему коробочку своих любимых.

Чтоб ценил! В наше время это большая редкость. А Мария умерла. Старшая не сразу решилась отдать ребенку скудные пожитки пленного, она поглядела на другую, но другая даже головы не повернула в их сторону. Она поджидала солдата. Человек видел, что сомнения терзают душу старой женщины. Хоть бы табак оставила. Не тут-то было. Мальчишка исчез со своими трофеями в глубине домика. И даже же дверь за собой затворил. Открывалась дверь наружу. Если бы в этом кирпичном домике раньше жили люди, дверь открывалась бы внутрь. Выпотрошили, стало быть, пленного. На удивление легко и просто. Только жалкий новичок позволит отобрать у себя при шмоне огонь и табак.

Дыхание шумно рвалось изо рта у солдата. Он был красивый от быстрого бега и от злости, но воздуха его сердцу и легким хватало, потому что он еще на чем свет стоит честил и лошадь, и пленного, это подлое фашистское отродье. Мата в этом словоизвержении тоже хватало. Плишке говорит, что солдат ругается как коренной горожанин. Пленный невольно сдернул с головы шапку вместе с наушниками, похожими скорее на повязку. Голова у него была коротко острижена. Коль скоро барин либо управляющий заговорил таким манером, значит, снимай шапку. Так положено. А думать при этом можно что хочешь. Не прерывая потока ругательства, солдат пытался оттянуть жеребца от сена. Но тот коротко фыркнул и продолжал невозмутимо крупать — по-прежнему с разбором выдергивая стебельки. Солдат резко дернул его за поводья, жеребец взвился. Хорошо, перед ним была стена домика, не то бы он понес. Возможно, обем женщинам с самого начала не понравились городские замашки солдата, возможно, им не понравилось также, что он и не подумал с ними поздороваться. А уж поглядев, как солдат обращается с лошадью, они в две глотки набросились на тощего и долговязого парнишку. Тот хотел огрызнуться, но они не дали ему раскрыть рта. Правда, их крик вынудил его поставить винтовку на предохранитель, но когда обе женщины взапусти — особенно усердствовала младшая — приняли его бранить, это звучало со стороны как прицельный огонь с ближней дистанции. Конвоир, у которого удирает фашист вместе с лошадью и телегой! Женщины, конечно, не пожалели красок, расписывая, какого они мнения о подобных конвоирах. Пленный снова прикрыл шапку остриженную макушку. Теперь непосредственно к нему никто не обращался. Теперь град осыпал того, кто сам накликал грозу. Напротив колодца, по другую сторону домика, пленный увидел сводчатый вход в земляной погреб. Красиво выложенный камнем. Должно быть, в этом погребе у них хранятся всякие припасы. Вон туда и тропка протоптана. Может, там есть и картошка. Горячую бы картофелину! Одну-единственную! А нельзя, так что ж подедаешь! И козу они держат в погребе. Это видно по тому, что из погреба вдруг высунула рогатую голову бурая коза и возбужденно замыкала. Меканье козы смешалось с криками женщин. Солдат втянул голову в плечи. Наконец-то его проняло. Он небось думает, что меканье ему почудилось. Нет, углядел, слава богу, козу. Благо она вышла на свет. Наклонила рогатую голову. Видно, коза заменяет им собаку. Вот она прет на солдата. Но солдат уже по горло сыт перебранкой. Он отскакивает за столб. Старуха ведет себя более разумно. Она загоняет козу обратно. А та, что помоложе, вдруг умолкает. Внезапно. Когда женщины внезапно замолкают в разгаре ссоры, у них обычно делается сердитое лицо. У Марии, к примеру, бывало сердитое. И тогда надо чем-нибудь заняться. Подыскать себе дело, все равно какое. Мужской опыт придал человеку немного храбрости. Он подошел к сему и перебрал несколько охапок в фуру. Расхрабравшись, он даже подошел к моло-

дой женщине, которая тем временем взяла лошадь под уздцы, и молча выдернул поводья у нее из рук. Потом он развернул фуру и влез на козлы. Солдат уселся позади. Возница щелкнул языком. Лошадь натянута поводья и припустила рысдой. Солдатик взял автомат, вставший у него через плечо, пронес над головой и уставил дулом в спину пленному, сидевшему перед ним на козлах. Ему хотелось по крайней мере красиво уйти.

Ночью накануне последнего дня работ погода резко ухудшилась. Поднялся колючий, морозный ветер. Пленный, знавший толк в лошадях, выбрался из палатки. Он услышал звяканье жестяного ведра. Жеребец стоял, как и обычно, за поставленной на попа и слегка наклоненной фурой, вожжи были обмотаны вокруг оси. Жеребец тыкался мордой в жестяное ведро, также подвешенное к оси. В этом ведре варили чай и кашу, из него же поили лошадь, из него же она съедала свою ежедневную мерку овса. Чем меньше овса получает умная лошадь, тем медленнее она ест. Если лошадь среди ночи звякала ведром, у нее были на то свои причины. И на этот звук, тот, кто знал толк в лошадях, всякий раз вылезал из палатки. Старшина же всякий раз, когда кому-нибудь из пленных надо было среди ночи выйти, сухо покашлявал. Чтоб знали, что он все видит. Старшина мог даже во сне услышать, как чихает комар. Но лошадь заменяла целый ряд дневальных. И поэтому когда звякала ведро и специалист по лошадям вылезал из палатки, старшина не кашлял. По степи гоняли одичавшие, голодные псы, ростом с теленка. Они могли задрать лошадь. В каждой собаке есть волчья кровь. Просто она дремлет до поры до времени, но зато если проснется, такая собака страшной любого паника. А солдатик, хоть и корчит из себя неустрашимого храбреца, панически боится одичавших собак. Но и собаки, в свою очередь, боятся огня. Поэтому солдатик однажды сам себе дал приказ вставать ночью каждые два часа и подбрасывать в огонь свежие полешки. За день набегается, ночи длинные, и парнишка, естественно, спит крепким сном молодости. Тем не менее каждые два часа он сам себя выволакивает из палатки, чтобы поддержать огонь и, пользуясь случаем, пересчитать пленных. Подобного рвения от такого шумливого желторотика, казалось бы, и ожидать нельзя.

Итак, когда специалист по лошадям вылез в эту ночь из палатки, он увидел, что порывистый ветер задул огонь и развеял золу. А солдатик спит. Человек убедился в этом не без злорадства, он и сам поднимал, что несправедлив, но ничего не мог с собой поделать. Впрочем, злорадство улетучилось скоро. Человек увидел, почему лошадь громыкала ведром. Ветер задувал сбоку. Лошадь пыталась укрыться от ветра за поставленной на попа фурой. Но ветер задувал и под нее. Человек развернул фуру так, чтобы ветер дул в ее наклонное дно. Лошадь развернула фуру так, чтобы ветер дул в ее наклонное дно. Человек подпер деревянными чурбаками. Лошадь сунула ему в шинель свою теплую морду. Это она не часто делала. Так оно и лучше. Из-за Марии. Чтобы совсем не рехнуться. Вот почему человек принялась обматывать попоной тело лошади. На минуту оторвавшись от работы, он вдруг испугался. Из безлунной ночи на него двигалась какая-то фигура, за собой эта фигура тащила что-то большое, плоское, переливающееся огоньками. Вдобавок где-то вдали подвигала собака. Лошадь стояла спокойно. Значит, не чужой. Вскоре человек и сам угадал старшину. По быстрой походке, по торчащим в стороны ушам теплой шапки. Никогда, даже при таком ледяном, пронзительном ветре, старшина их не опускал. Старшина завидел пленного еще издали. Подойдя поближе, он что-то пробурчал себе под нос. Так среди ночи приветствуют друг друга старые знакомые. А большое, плоское, переливающееся, которое старшина тащила за собой, — это был, оказывается,

здоровенный кусок самолетного крыла с какого-нибудь сбитого развалившегося при столкновении с землей на части штурмовика. Старшина сгибал блестящую от намерзшего снега жезл до тех пор, пока ему не удалось засунуть ее конец между колесными спицами. Закрепить ее по-другому было невозможно. Пленный сразу понял, чего хочет старшина. Он хочет снова развести огонь за этой жесткой ширмой. Может, ради уснувшего солдата, потому что солдаты плохо спят без своего огня-костерка. Кинжалом для ближнего боя старшина начал тесать щепки с полена, а пленный искусно сложил их в башенкой. У него зачекотало в кончиках пальцев — до того хотелось развести огонь. Но зажигалки больше не было. Эта вредная старуха отлично понимала, что ему в его положении нельзя без зажигалки. У них же горел в домике огонь. В самой настоящей печке, под крышей, в четырех стенах, огонь сберечь нетрудно. Ну, давай, давай, потораливай его старшина. Он ведь знал, какая у пленного зажигалка, он не раз оценивающе поглядывал на нее и говорил — как это по-русски? — «карошо». Стало быть, одобрил. «Капут!» — сказал пленный. Старшина запустил руку в карман шинели и перебрал пленному собственную зажигалку.

Зажигалка у него была примерно тех же размеров, сделана по тому же принципу, только с завинчивающимся колпачком. Невеликая хитрость, если есть чем сделать нарезку. Взвился язык пламени. Вдвоем они перетаскали обугленные остатки старого костра, выложили из свежих поленьев конек крыши. Огонь разгорелся превосходно, как по инструкции. Быстро разогревшись, оттаяла жезл, на сером фоне проступила краска, белая и черная. Когда языки пламени добрались до конькового бруса, на жести проглянула свастика. Старшина стоял как ни в чем не бывало. Лошадь прыгнула в сторону задом. Может, именно такие кресты набрызгивала краской Мария. Она ведь писала, что красит по шаблону. Старшина о чем-то спрашивает, в его речи мелькнуло слово «familija». Какое дело старшине до моей семьи? Я хоть бы и знал его язык, все равно не стал бы отвечать. Об этом говорить нельзя. Ни на каком языке. Мария — это касается меня одного. Там, где не хватило попоны, лошадиная шерсть заиндевала. Можно нацарапать тавро ногтем большого пальца.

— Жена, — говорит человек и царапает ногтем крест на лошадином боку там, где не хватило попоны.

Сын — это тоже мое дело. Сын у меня — сорвиголова. Это они сразу угаядели. И сделали из него такого ухаря, такого разбедового унтер-офицера. Но у мальчишки хорошие задатки. Он не способен лгать, нигде и никогда. А мне надо бы отлить. Против ветра не положено. Уж лучше на высокий символ. А знаешь ли ты, старшина, какой у меня брат, брат у меня блюдолиз и braveй вояка одновременно.

В Польше он лишился одного глаза. Надо, чтоб человеку везло, так он сказал. Теперь до конца войны — только нестройная служба. Между тем он при одном своем глазе дослужился до фельдфебеля. Теперь он инспектирует гарнизонные конюшни. Если, конечно, там еще остались хоть какие лошади. Но мой брат своего не упустит. Даже когда на всю конюшню останется одна-единственная кобыла и один-единственный солдат, чтобы ходить за ней, то и тогда этому последнему солдату придется чистым носовым платком протирать под хвостом у последней кобылы, когда у нее течка, чтоб в конюшню был порядок! Чтоб чистота! Тут он способен метать громы и молнии. Но вот чтоб вызволить Марию из красильни, для этого он чересчур злопамятен. Мария его как-то обозвала скотиной, скотина ты, говорит. Старшина неплохой человек. Не спросил, никто не спросил, почему у Плишке со вчерашнего дня разбита губа. У него загребушие лапы. Что

найдет у кого съестного, тут же втихаря и слопают. Ну и все помалкивают. Хотел болван задать деру с пистолетом и двумя баночками сала. Семья, семья, это ты, старшина, много захотел. Вежливости ради ограничимся именем.

— Меня звать Рёдер, — сказал пленный.

— Ройдер, — повторил старшина.

Больше он и не желал знать о немце, который разбирается в лошадях, мочится на свою собственную высокую эмблему, а теперь снова полез под низкую, хлопающую на ветру крышу палатки.

За ночь ветер усилился. К утру небо сплошной черно-серой массой облаков тяжело повисло над степью. Легким не хватало воздуха. Темное небо сообщало свои краски земле и ветру. Тонкий снежный покров, весь в проталинах и неровностях, покрывал землю как серая костяная мука. Ветер был тоже серый и звероподобный, он бросался на людей, кусал их и душил. Порой он поднимал снег и гнал перед собой людей, кусал их и душил. Порой на мгновения разрывал пелену, бой поземку, как низкий туман. Порой на мгновения разрывал пелену, закрывшую небо. И тогда несколько мгновений на землю изливался непереносимо слепящий свет, и снег начинал сверкать разноцветными искрами, и люди бранились и стонали и брели ощупью, как слепые.

Продвигаясь вперед, старшина то и дело поглядывал на карту и сравнивал местность, где глазу не за что было зацепиться, с ее показаниями. Это он первый раз заглянул в карту. Через два часа старшина подозвал солдата. За два часа, прошедшие с побудки, команда ничего не нашла. Они и вчера ничего не нашли. Не вынесло ли их ненадолго за пределы заданного участка? Рёдер и хотел этого и в то же время опасался. Старшина неплохой человек. Но он не из тех, кто допустит, чтобы его потом упрекнули в халатном выполнении приказа. Хорошо, что Плишке трется возле них обоих, что у Плишке хватало смекалки именно сейчас выскребать смерзшийся снег из дыр во льду. Начальник команды утром четко распорядился: выскребать снег из дыр. И проверять, что под ним! Плишке перевел. Плишке горло лучше понимает по-русски, чем в том признается. Когда старшине надо что-нибудь обсудить с солдатом, он, как правило, отгоняет Плишке. Насчет дыр Плишке, сделав, конечно, при этом глупо-усердное лицо, бойко все перевел, хотя из-за разбитой губы он малость шепелявит, с тех пор как его товарищи подправили ему физиономию. Переведа слова старшины, он добавил от себя. «Господин старшина, — добавил Плишке, — господин старшина изволят предполагать, что в этом холодильнике можно отыскать Снегурочку. Здесь есть не только заледенелые дыры, здесь почти вся земля покрыта льдом. Либо высоко стоят подпочвенные воды, либо бьют из-под земли ключи. Если, конечно, в этой богом проклятой степи вообще есть подпочвенные воды либо родники». Старшина стоит, словно сам себе полководец. И простирает руку вперед. Впереди вытянутый слаженный гребень. Не выше свекольного бурта. На карте это обычно обозначается как высота или складки рельефа. Если летом здесь тепло и сыро, можно разводить свиней. Вон никому не помешает, а свиньи нагуляют хорошие мяса. Старшина не отгоняет Плишке. Даже разрешает ему подслушивать. Плишке перестал выскребать снег. Ну, теперь начнет важничать — только держись. Со мной он, видите ли, не разговаривает, точнее сказать, разговаривает, когда я могу его слышать, но обиняком, а прямо ко мне не обращается. Хочет со мной покататься. В лагерях, мол, бывают несчастные случаи на производстве. И длинные руки меня везде достанут. Перед тем как выйти на задание, старшина сказал: «Кто попробует бежать, тот будет убит». Так это звучало в переводе Плишке.

Потом старшина поднял сверху большой палец, потом растопырил все пять и еще что-то добавил. Ну, ясно что: тогда всем вам не одобровать. Господин переводчик наговорил кучу всякого вздора. Мол, доверие за доверие! И тому подобное. Это чтоб русские нам доверяли?! Да покада мы живы, не может и речи быть ни о каком доверии. Они заставляют нас работать — и баста. Давай, давай. У лошади можно кой-чему поучиться, даже если она носит кличку Арестант. Или именно потому. Лошадь хочет выжить в этой проклятой войне.

Одновременно Рёдер узнал, что на гребне невысокого, лежащего прямо перед ними холма сбор трупов будет закончен. Дальнейшее в изложении Плишке звучало следующим образом: километров за пятьдесят к северу от этой выскочки, где в прошлом ноябре был прорван немецкий фронт, четыре противотанковых немецких орудия и два тяжелых пулемета с утра до полудня сдерживали натиск целого танкового полка русских. Орудийные расчеты сознательно пожертвовали собой, чтобы основная часть немцев смогла без потерь оторваться от противника и отойти на более удобные позиции.

Вот как все звучало в изложении Плишке. Рёдер узнал также, что старшина в составе приданного танковому полку батальона пехоты проделал это наступление с первого дня и до соединения их частей с частями Южного фронта. Теперь он шел по тому же пути, к тому же холму, но с командой военнопленных. И тут Рёдер понял, откуда старшине так точно известно, где стоит искать основательно, а где нет. Будь у этого русского крылья, он со своей способностью ориентироваться добирался бы осенью до Африки, до пирамид, а весной возвращался бы на родное подворье.

Ветер теперь был не такой сильный и не такой колючий, как утром. Повалил густой снег. Они поднялись на гребень холма. Ветер дул им навстречу, от него шинели и шапки становились тяжелыми, а глаза слепли. Русские танки тоже шли им навстречу. Чего стоит пыльная метель рядом с танками? Наши продержались здесь до полудня. Пусть и нынче они до полудня же обретут вечный покой. Эти слова Плишке взяли за живое и Рёдера. Спору нет, те, кого они с помощью ломов выковыривали из огневых позиций, из промерзшей земли, вновь стали для них близкими. Одного раздавили гусеницы танка. Такие им уже попадались. Но при виде этого, на холме, солдатик бросился прочь сломя голову. Его вырвало.

Рёдер шел вниз по склону. Лошадь и фуру они оставили у подножья выскочки. Только к концу поисковой операции старшина указывал, где именно рыть могилу. Этот срок настал. Вдоль всего гребня холма они откопали девять человек. Сплошь молодые ребята. Это и сейчас видно. Один из них — обер-лейтенант. За снежными хлопьями не разглядишь ни лошадь, ни фуру. Рёдер слышал только, как заскрипели и снова смолкли колеса. Лошадь искала корм. На гребне холма старшина наверняка не прикажет взрывать яму. Могила на холме — это уже нечто вроде памятника. Вблизи деревни, которая должна лежать по ту сторону холма — ее отсюда нельзя видеть, но можно представить: разоренная, сгоревшая дотла, вымершая, — вблизи деревни он тоже не захочет. У русских здесь были свои потери, может, даже больше, чем у нас. Вот их могилы и будут за деревней. По порядку, одна подле другой. Вернутся когда-нибудь в эти края люди. Мало-мальски восстановив деревню, они разобьют возле нее красивое кладбище. Одним лежать там, другим — здесь. Значит, старшина отыщет подходящее местечко по эту сторону. Может, ему попадется приличная воронка. Воронка — она уже сама по себе углубление, когда есть воронка, не надо бурить в промерзшей земле такие глубокие шпурь для взрывчатки.

Наконец Рёдер увидел коня. Конь терпеливо ждал, дергая длинными зубами длинные травинки, твердые, как трехгранный напильник. Неподдалеку Рёдер углядел что-то продолговатое, четырехугольное. Участок, размеченный кольшками и ключьями немецкого палаточного брезента в зеленых, коричневых и желтых пятнах. Их всегда разбивают в каком-нибудь укрытии, чаще над вырытой чуть глубже, чем по колено, ямой, чтоб защитить от холода и осколков тех, кто не стоит в карауле. По ровности снежного покрова в пределах бывшей палатки Рёдер догадался, что палаточная яма до краев заполнена водой и замерзла. Значит, либо здесь случались оттепели, либо из-под земли бьют ключи. Но оттепелей за весь ноябрь не бывало ни разу. Господи боже, оттепель! Разве что холм хоть немного да защищает от мороза. Палатка была с южной стороны холма. Три дня назад, когда лошадь понесла, старшина велел круто повернуть к северу. Выскребать снег из дыр во льду! И проверять, что под ними.

Рёдер разыскал саперную лопатку и начал расчищать снежный покров. В лед вмерж чей-то труп. Под шершавой поверхностью льда он рисовался серой тенью за волнистым стеклом. Полевой лопаткой Рёдер до блеска расчистил лед над головой тени, словно распахнул подвальное оконце, позволявшее заглянуть внутрь. Яма была не глубокая, какое там до колен, и половины не будет. Где-то вблизи пробокала, какое там до колен, и половины не будет. Где-то вблизи пробокала, какое там до колен, и половины не будет. Русская лошадь скрипели колеса. Скрип удалялся. Снова все стихло. Если Плишке не сочиняет, но ведь не мог же он сочинить все подряд, старшина с известным уважением говорил о солдатах, которые стояли здесь насмерть. И вызвались добровольно. Сейчас Рёдер был один, а когда он бывал один, он, бог весть почему, чувствовал себя свободным. До того свободным, что решил еще раз взглянуть в лицо мертвому немцу, о котором не без уважения говорил русский. Да, именно решил. Он расчистил участок над головой тени, он стер с него снег, как протирают мутное окно, — стер всем телом и полами длинной, широкой, распахнутой теперь шинели. Унтер-офицер, что лежал подо льдом, был, наверно, очень молоденький. Лет двадцати. Во льду покойники сохраняются дольше. Разложение начинается водой. Унтер-офицер лежит на спине, голову повернул в сторону. Будто спит и видит плохой сон. Такие лица молоденьких капралов ему знакомы. На них сливаются воедино гордость и безоглядная удаля. Наверняка был досрочно произведен за храбрость, проявленную в боях с противником. А этот, лежащий перед ним, судя по всему, не выдержал. Он еще сжимает в руке пистолет ноль восемь, системы парабеллум, который никогда не подводит. Другой рукой он вцепился в планку с пуговицами, разрывая воротник. Не выдержал. Собственным пистолетом... В виске неровная дыра с почерневшими краями. Точь-в-точь, как у нашего лейтенанта. А почему, собственно, застрелился наш лейтенант?

Он был счастливо женат. Моложе тридцати. Только потому, что мы трое опять вернулись под его командование, хотя нас всех перевели в другую часть? Идиотский приказ. Вернулись, ни у кого не спросяся, ровно через сутки. Как раз в день образования рейха, сказал лейтенант, когда мы явились. Помнится, кто-то сказал, что должен же у нас остаться хоть рейх.

В котле ко времени нашего возвращения творилось черт знает что. Люди погибали один за другим. Сперва лейтенант бодрился. Потом начал орать на нас. Потом смолк. Вечером поднял, ни с кем не чокаясь, стаканчик — в честь праздника. Да, надо полагать, в честь

нелепость — мальчик сделал это не на холме, а внизу, в палатке. — Рёдер постарался вытеснить из своего сознания.

Когда в этот зимний день, мрачный, последний день, команда выполнила свое задание, она без проволочек начала отход в лагерь. Идти предстояло четыре дня. Нынче ночью, и никак не позже Рёдер собирался опробовать пистолет, а затем выбросить его ко всем чертям. Он, без сомнения, так и сделал бы, не вздумай старшина в конце того же дня проверить его на ношение оружия. «Тот же из военнопленных, кто присвоит какое-нибудь оружие и будет прятать его на теле либо где-нибудь еще, подлежит расстрелу на месте».

Без разговоров.

Но когда, в силу изложенных выше обстоятельств, старшина решил досмотреть ефрейтора Рёдера на недозволенное ношение оружия и когда вышло так, что приговоренный к расстрелу на месте Рёдер упал под выстрелами, произведенными с близкого расстояния, в погреб-землянку, родилась легенда и начала выпрядать свою пряжу вокруг того, что уже случилось, и того, что за этим последовало.

Почему старшина избрал именно тот путь, который вел мимо кирпичного домика? Маловероятно, чтобы молодой солдат в лестных словах отозвался о двух женщинах. Может, он испытывал по отношению к ним некоторые урызвения совести? Может, хотел что-то исправить? По замыслу команда должна была остановиться на привале возле домика. По дороге они собирали топливо. У опустелого, изрешеченного выстрелами фольварка, в часе ходьбы от домика, они нашли дрова, и обугленные, и нетронутые. Старшина не хотел приходиться с пустыми руками. Так вроде и не принято. Возможно, старшина думал про себя, что встреча с острой на язык женщиной — если только не обязательно на ней жениться — оттачивает мужской ум. Когда он направился к домику, еще не видному, хотя метель заметно поутихла, лошадь опять забеспокоилась. Но на этот раз не понесла. Слишком много всякой всячины лежало на фуре. Все четверо пленных, перекинув через плечо веревочную ляжку, тоже помогали ее тащить.

Женщина помоложе скупо поблагодарила, когда топливо было сгружено перед ее жильем. Старшина долго с ней толковал. Надо полагать, что своим соотечественникам она бы без долгих разговоров предоставила теплый ночлег. Но пускать к себе немцев она не желала, и старуха целиком ее поддерживала. А мальчик играл с молоденьким солдатом в военную игру. Они отошли подалее и принялись стрелять в цель; когда кто-нибудь из них попадал, мальчишка всякий раз кричал «ура!» своим тоненьким голоском.

Наконец, та, что помоложе, затеяла спор со старшиной. И лицо у нее было такое, будто она за себя не отвечает. Спор шел о лошади. Женщина хотела получить лошадь. Она считала, что у нее больше прав на лошадь. Если у них к весне не будет тягловой силы, — а откуда тут взяться тягловой силе? — они не смогут ничего посеять. А если ничего не сеять, им остается только умереть с голоду. Либо перебираться отсюда. Но куда? Здесь они у себя дома. Отсюда они уходить не желают. Отсюда их угоняли немцы. Как скотину. Кроме них, на фольварке никто не уцелел. Они уцелели, но потеряли ребенка. Девочку трех лет. А муж, отец девочки, погиб под Смоленском. Эти чертовы фашисты могут и без лошади дотащить фуру до лагеря. А старшина пусть доложит, что лошадь по дороге околела. Плишке шепотом переводил ее слова, а старшина задумался, молчал и только время от

времени покачивал головой. Все покачивал и не говорил ни слова. Тогда у женщины лопнуло терпение. Она рванулась к лошади и начала ее распрягать. Лошадь продолжала спокойно хрупать. Но тут старшина взорвался. Он рявкнул на женщину командирским тоном. Женщина даже головы не повернула. Тогда он двинулся к ней, спокойно, с достоинством, даже не ускорив шаг. И отделил женщину от лошади. Отодвинул. Не очень грубо, но очень решительно. Рука у женщины в этот день была подвязана старым черным платком. Но именно подвязанной рукой она отталкивала старшину. Может, у нее был просто ушиб. Или перетрудила руку. Потом она вдруг словно обезумела. Ладно, крикнула она, будь по-твоему, но тогда оставь мне одного из этих немецких жеребцов. Кормить я его буду. И следить за ним тоже. А потом я бы его с удовольствием выменяла на хорошую лошадь. Старшина снова погрузился в раздумья. Хотя на сей раз он не сидел на сене под навесом, а стоял внизу на собственных ногах. Тогда женщина снова решила действовать. На фуре все еще лежали упряжные веревки пленных. Женщина взяла одну из таких веревок. Четверо пленных с подчеркнутым равнодушием топтались возле погребка. Они увидели, как женщина, помахивая веревкой, приближается к ним. Ни один не поверил, что она в самом деле тронулась. Пленные стали себя, что женщина только изображает помешанную. Пленные стали в кружок и лишь сдвинулись потесней, когда по их спинам загулял конец веревки. Трое даже ухмыльнулись. Один нет. Старшина хотел остановить женщину. Но тут женщина подняла руку на самого старшину. И он не стал вмешиваться, когда женщина схватила за шиворот того единственного, который не улыбнулся, словом, Рёдера, вытолкала его из круга и ударами веревки загнала в погреб. Бабушка стояла в дверях домика и истошно кричала. Из-за домика, где играл в войну мальчонка, снова донеслось пискливое «ура!». И лишь тогда старшина взревел. Вспугнутой ланью вылетела из погребка коза. Старшина уклонился от встречи с ней, за козой из погребка торопливо вышла женщина и заперла дверь снаружи. Молодой солдат услышал крик своего командира, прибежал и получил приказ препроводить женщину в дом. Но женщина пошла сама. Солдат по пятам следовал за ней, продев большой палец под ремень винтовки. Один бог знает, что при этом думал сын женщины.

Трое оставшихся пленных, безопасности ради, бросились к фуре. Молодой солдат, остановившийся под навесом, не спускал с них глаз. Он не понимал, что происходит. Зато он твердо знал, где враг. Рев старшины донесся теперь из погребка. «Давай, Ройдер!» — ревел старшина. Но Рёдер не появлялся. И вообще там все смолкло. Может, целую долгую минуту из погребка не доносилось ни звука. Лошадь обнюхивала козу. Коза кротко позволяла себя обнюхивать. Потом старшина заревел снова. «Фашист! — ревел он. — Пистолет! — ревел он. — Расстрелять!» — ревел он, старшина то есть.

Потом из погребка вышел Рёдер, шинель нараспапку, китель разорван, следом старшина, за спиной — автомат, в руках — находка. В дверном проеме старшина тяжело опустил руку на плечо Рёдера, повернул его к себе лицом, потом прошел мимо. Рёдер повиновался всему с безучастным видом. Когда старшина отошел на несколько шагов, сунул находку под ремень, снял с плеча автомат и Рёдер услышал металлическое звяканье, у него, должно быть, подогнулись колени, и он опустился одной ступенькой ниже. Старшина высоко прицелился и выстрелил. Рёдер тотчас рухнул. Чтобы удостовериться, а может, чтобы соблюсти предписание, старшина приблизился к входу в погреб и, держа автомат на уровне бедра, дал короткую очередь еще раз. Так женщины стояли в дверях дома. Старшина и к ним подошел еще раз. Так

же размеренно и спокойно. Младшей он сказал несколько слов, но что именно — никто не слышал. Даже бабушка — и та нет. Увидев приближающегося старшину, она затолкала внучонка в дом.

Отрывистая команда к отправлению. Рёдер никогда не бил жеребца. Теперь старшина нахлестывал его веревкой всю дорогу. В жеребца словно бес вселился. Солдат держался за слугу, пленные все лежали на дне. Старшина стоял. На степь уже спускались сумерки.

Вот как все было.

Рёдер лежал на редкой соломе мертвец мертвецом. Он и сам не знал, сколько времени пролежал в этом земляном погребке. Пахло козой, проросшим картофелем, брожением. Пахло старьем. Козы не было. Домашнюю скотину не держат рядом с покойником. То, что произошло на самом деле, находилось за границами его понимания. Сколько же он лежал! Чувство времени отступало под ударами воспоминаний. Все возвращалось с пронзительной отчетливостью, даже сверхотчетливостью. Все: предметы, люди, их жесты, слова — виделось ему в кромешной тьме неестественно большим и озвученным, как в кино. Нереальным было лишь то обстоятельство, что фильм о последних часах его жизни крутили то слишком быстро, то слишком медленно. И — что всего мучительней — он увидел себя самого: как он роет могилу, как взмах кирки вдруг ослабевает, ибо у могильщика мелькнула мысль, что мальчик не струсил, что он сражался и приберег для себя последнюю пулю. И как он сам бредет в земляной погреб, и как женщина его вовсе даже и не бьет. Он совсем медленно бредет вниз. Она следует за ним так же медленно. У нее недоброе выражение лица, будто им обоим предстоит выполнить в погребке недобрую работу. Потом он видит, как расстегивает на себе китель, достает из-под лохмотьев пистолет и протягивает его старшине на ладони. Мучительно медленно прокручивается лента. Но там, где старшина поднимает брови, где сжимает кулак, где замахивается кулаком ему в лицо, фильм останавливается. Старшина не бьет его в лицо. Кадры снова начинают мелькать, сменяя друг друга. Звук непомерно громкий — прямо рык: «Ты фашист, пистолет, расстрелять!» Первый залп грохочет как будильник с повторным звонком, который всегда стоял у них в спальне на жестяной тарелке, который всегда заставлял его подниматься, который теперь заставил его упасть. Второй залп — издали. И слова — издали, едва различимые слова: «Ты никс капут, ты работать, понимаешь...» Непонятный народ эти русские.

Было это на самом деле? Или не было? Одно из двух. Рёдер ощущает голову, шевелит ногами и руками, сперва каждой по очереди, потом всеми сразу — так пловец делает упражнения на суше, — потом трижды сгибает колени и трижды дергает себя за мочку уха. Чтобы уж до конца удостовериться, он даже ощущал причинное место. Все при нем, все как положено. А глаза способны различить, что в погребке темным-темно, а снаружи — дверь не закрыта — чуть посветлее. Теперь он вдобавок ощутил голод. Но поскольку человек должен владеть собой, а не поддаваться своему голоду, словно животное, он не полез за перегородку, откуда пахло картофелем. Он поднялся по ступенькам погребка, воспринял как доброе предзнаменование, что ступенек оказалось семь, а поднявшись, обвел взглядом представшую перед ним действительность. Действительность пребывала такой же, какой он ее покинул, вот только за это время она облеклась в глубокую ночь. Домик с навесом и колодец с воротом. Снег тоже еще слегка мел. Из дома не проникало ни лучика света. Спят, наверно.

Должно быть, уже полночь. Он описал большую дугу вокруг домика. Ни лошади, ни фуры, ни бивачного огня. Команда ушла второпях. Мертвого немца полагаюсь взвалить на фуру, мертвую лошадь можно было бросить как есть.

Разум, оказывается, тоже его не покинул. Ладно, будь что будет, а пока нужно устроить ночную трапезу. Воскресший из мертвых снова ощупью спустился в свое укрытие. Когда он среди кромешной тьмы засунул руку в ларь и выискал себе отличную, увесистую и тьмы засунул руку в ларь и выискал себе отличную, увесистую и тьмы крепкую картофелину, у него одновременно мелькнула отличная, увесистая и крепкая мысль. Он подумал про Адама, и про яблоко, и про древо познания, Он хорошо знал эту старую легенду, до того хорошо, что мог даже припомнить, что изрек змей, который там присутствовал, а изрек он нечто весьма поучительное. И сказал змей: вы не умрете. Откроются глаза ваши, сказал он. Глаза у Рёдера и впрямь открылись. Он уже мог отличить тьму обыкновенную от тьмы непроглядной. Но он не мог разжать зубы. Его челюсти были словно спаяны. Беда не приходит одна. Кто не может раскрыть рот, тот не может и разговаривать. Разум, в наличии которого Рёдер только что убедился, подсказал ему, что это могут быть последствия пережитого смертельного страха. Ведь ему и в самом деле пришлось испытать смертельный страх. Страх этот сковал его разум на долгие часы. Но разум снова к нему вернулся. А разум — это самое уязвимое. Человеку нужен покой, чтобы все снова к нему вернулось. Рёдер лег. Ему вдруг стало очень жарко. Это хорошо, это расширяет сосуды. Затвор пистолета здесь бы тоже заработался. От тепла. Но мне это уже ни к чему. Когда благородные господа боятся лишиться чувств, они суют себе под этого сорта так себе. Наверно, у русских вообще нет хороших сортов. Но даже из самых хороших ни один не сравнится с «Благодатью пашенни». Голос все еще никак не вырвется из гортани. Сама гортань вибрирует и гудит. Можно ее использовать как камертон. Когда регент ударял по камертону, он тоже закрывал рот. Мария и Иосиф в виффелемском хлеву. Не подкопаетесь. Если бы Мария была женщиной из домика, если бы она нашла меня здесь — как вскоре найдет эта женщина меня, такого, как я есть, Мария упала бы замертво, доживи она до наших дней. А эта женщина? Когда станет светло, женщина забудет все дурное. И разум, наверно, к ней вернется.

Рёдер даже не заметил, как при этой мысли у него открылся рот. И, уже с открытым ртом, он понял, что контракт между человеком и рабочей лошадью человеческой породы, который без слов заключили они между собой — он и эта женщина, был заключен обеими сторонами в состоянии полуневменяемом. Пусть полуневменяемость каждого имела различные, вообще не сопоставимые причины, одна невменяемость не поглощала другую, скорее усиливала.

Когда станет светло, к женщине вернется здравый рассудок, он воскресит ее понятие о чести, ее гордость, ее боль. Она — солдатская вдова. Она не может держать пленного вместо лошади. Да и что скажут люди? Старшина доложит, что, согласно приказу, расстрелял одного военнопленного за ношение оружия. Когда же его спросят, закончили ли он расстрелянного, к тому же имея под рукой похоронную команду, он, не дрогнув ни одним мускулом лица, ответит, что передал эту грязную работу одной личности, которая своим поведением уронила достоинство русской женщины. А когда эта русская женщина меня увидит, когда станет светло, когда к ней вернется рассудок, не сможет же она уронить это самое достоинство еще больше.

Она должна будет меня расстрелять. Ей и вообще-то ничего не стоит нажать курок. Между прочим, старшина, надо думать, тоже был не в своем уме. Эта война не знает милосердия. Проявлять милосердие во время войны либо принимать его равносильно самоубийству. Я не могу умолять эту женщину проявить милосердие и позволить мне работать на нее вместо лошади. Всего лишь работать, как работает честная лошадь. Не надо смущать ее такой просьбой. У нее остался еще один ребенок. Но я все равно должен выдержаться.

— Мам, ты не спишь? Мам, чего нам делать с фашистом? Ты сказала, что он, может, вовсе и не мертвый.

— Спроси у бабушки.

— Он мертвый, внучек, как же, иначе, ты ведь сам видел, старшина два раза в него выстрелил. Завтра утром, когда станет светло, ты сможешь сосчитать гильзы. Он дважды мертвый, этот фашист. А то и трижды. Мы возьмем санки. Мы увезем его подальше. И пусть дикие собаки его хоронят. Еще до того, как станет светло.

— Мама, ты слышала? Еще до того, как станет светло.

— Слышала, слышала, что ты все повторяешь, как попугай. Я возьму свою винтовку. Мне без нее нельзя. А бабушка пусть расскажет тебе сказку про Ивана — крестьянского сына и злого Кощея.

Полночь все еще не наступила. Когда зимнее небо затянуто облаками, ночь начинается, минуя вечер. У кого был замутнен рассудок, тот теряет чувство времени. Редер набил картошкой мешочек для хлеба. Когда мешочек бывал пустой и обмякший, Редер носил его на ремне под шинелью. Для тех же случая, когда у мешочка раздувались бока, вот как сейчас, Редер держал в запасе лямку от противогаза, чтобы носить мешочек через плечо. И понесет он его под шинелью, не поверх, а именно под, хотя полный мешочек поверх шинели носить куда сподручней. Но поверх шинели картошка по дороге замерзнет, а Редер — человек предусмотрительный. У кого впереди долгая дорога, тот должен обо всем подумать. О дорожном рационе, о самой дороге и о том, куда ведет эта дорога. Итак, куда же она ведет? Вот уж на этот счет сыну моего отца беспокоиться нечего. Была бы голова на плечах, найдется и дорога. А где есть дорога, там есть и пункт назначения. Возможно, они схватят меня посреди степи. Местные жители — чужака, и вдобавок крайне подозрительного чужака. Значит, коль скоро ты и без того подозрительный, не надо подозрительно себя вести. Надо позволить себя задержать, не пытаться спастись бегством, не оказывать сопротивления. Надо вести себя как человек, который пришел сдаваться. И не иметь при себе оружия, даже если и попадетс какое-нибудь по дороге. Кто, будучи чужаком, в военное время не имеет при себе оружия, тот уже считай, что сдался. Тот все равно как враг без зубов. Или, скажем, как немецкий солдат, мимо которого прокатилось наступление русских и который с тех пор, словно отшельник, бродит по этой богом забытой степи. Звать меня Хазе.

Ах да, буквы на шинели. Они говорят другое. И наведены несмысливаемой краской. Мало ли что буквы. Нашел шинель в степи. На разбитом снарядами фольварке. Там был еще такой каменный домик, хорошо сохранившийся. Так он, по крайней мере, выглядел издали. Если захотите проверить, вы найдете там двух женщин, гражданских, и одного ребенка. И все трое подтвердят, что я сказал правду. Недалеко от их дома расстреляли одного военнопленного. За утайку оружия. Труп так и остался лежать.

Да, но плешь? С какой стати солдат, отбившийся от своей части, будет выстригать себе плешь, когда на дворе зима? Господи, да плешь выстригли наши санитары. Из-за вшей. А потом волосы так и не отрасли. На голове-то все время была стальная каска. А пот, который вечно собирается под каской, он действует на корни волос, как ртуть. Человек с бородой и плешью всегда смахивает на придурка. А кто смахивает на придурка, да вдобавок говорит, как придурок, за такого всегда кто-нибудь заступится. Придурки не подвластны закону. А если не подвернется ни одна живая душа, чтобы меня заарестовать, всегда можно ненароком выйти на какого-нибудь часового, какую-нибудь комендатуру. Главное, я не Мартин Редер. Я Карл Редер. Я — мой брат, свинья эдакая. Пожалуй, самое подходящее для меня направление — это юго-восток. В сторону Сталинграда. Ох, и далек ты, обратный путь на родину, ох, до чего ж далек.

Как это пелось дальше в одной песне? Сгорбься, еврей по свету бредут, сегодня там, а завтра тут. Один только раз люди живут, живут, пока не умрут... Вот как оно пелось... Сперва Польша, а потом Франция, Балканы и, наконец, Россия. А теперь ты и сам еврей, вечный жид. Ты уж не сердчай на меня, Бромбергер, ты был неплохой человек. Бился-надрывался со своей лошадкой и своей тележкой. И все по деревням колесил, все по деревням, от Польши до Нижней Силезии. По скверным дорогам, летом и зимой. Правда, люди тебя не обижали, так ты ведь и сам в жизни мухи не обидел. Покуда человек жив, покуда не свихнулся окончательно, он меняется в лучшую сторону, вот как говорил Бромбергер. Ну, не шуми, Мартин! Дрозд смеется, умирая. А сейчас темней, чем я думал. Собственной руки не видать. Глаза ваши откроются, сказал змей. Откроются ли, нет ли, а палочку раздобыть не мешало бы. Всего бы лучше дубовый сук. И от собак хорошо. Можно пропороть ей шкуру, если набросится. Нет, без дубины он и шагу не сделает. Коли у кого голова не варит, пусть за нее ноги отдуваются. Перед домом, помнится, лежали дрова, которые мы им привезли. И среди них пара отличных плах. Прямо как коньковые брусья, нетесаные, прямые, не слишком тонкие, не слишком толстые, круглые и хватистые.

Редер тем временем отошел уже на изрядное расстояние от дома. Теперь он повернул и пошел обратно. Дубина, которую он искал, единственная подходящая для него, никак не попадалась. Наконец, он остановил свой выбор на жердине, которая лежала в самом низу, а потому и достать ее удалось лишь с превеликим трудом. Была она длинная, как епископский посох, только потолще, хотя вполне хватистая. Наш новоявленный странник, можно сказать, бодро уперся посохом в землю, сделал первый шаг, второй и только вознамерился сделать третий, как женщина ткнула его дулом ружья в спину. Редер сразу понял, что это она, но понял также, что теперь и в самом деле пришел его последний час. Поднявшись на вторую ступень познания, Редер в сердцах обозвал себя болваном, который вздумал спокойно отбирать товар, будто на дровяном базаре перед лесничеством. И он приказал самому себе пройти свой последний путь с гордо поднятой головой и при этом думать только о Марии. Где однажды пролетела птица смерти, туда прилетят и еще несколько. Сперва Мария, потом мальчик... Для чего и ему тогда жить...

Итак, за домом.

Женщина толкала его перед собой дулом винтовки. Пока не затолкала за свой дом. Пока он не оказался лицом к стене. Женщина не проронила ни слова. Она и пришла беззвучно. Как нечистая со-

весть. Женщина отступила на два или на три шага. Вообще-то выстрел уже должен был прогреметь. Секунды утекали в вечность. Мария, Мария. Невозможно так много секунд думать о Марии всеми силами души. Рёдер покосился в сторону. Там стояли крестьянские сани, одноупряжные, с двойной оглоблей. Он их раньше даже и не заметил. Рёдер понял: она хочет узнать, сколько я вешу. Только зачем ей делать это здесь? Со всем моим тряпьем я как-никак потяну килограммов на шестьдесят. Не легкий груз для женщины. А дорога длинная. Ей пришлось бы проделать изрядный путь с моим телом. Она не захочет, чтобы я лежал вблизи дома. Теперь мне все ясно. Старшина признался ей, что дарит мне помилование. Будь женщина уверена, что ее работающая лошадь лежит мертвая в погребу, она непременно завопила бы со страху, увидев, как я роюсь в поленнице. Хотел бы я поглядеть на ту женщину, которая не завопит, увидев среди ночи покойника, отыскивающего себе посох. Но старуха и ребенок, поди, до сих пор не знают того, что знает она. Кстати, и поэтому тоже она не должна стрелять здесь, за домом. Это вызовет ненужные расспросы. Вот видишь, Мария, теперь она запрягает меня как лошадь. Ты уж прости ей, Мария. Зато наша семья опять соберется вся вместе.

Вот мы и отмахали этот изрядный кусок. Женщина первым делом оттолкнула немца примерно на пядь от оглобеля, потом и вовсе вытолкала из упряжки. Дорога была долгая, и за всю дорогу женщина не проронила ни слова, лошадь не услышала ни одной команды. Только и было слышно, как скребут полозья по снегу. Да один раз прозвучал отдаленный рокот самолетных моторов, далеко и высоко над облаками. Направление — на юго-восток — пленному дозволили выбирать самостоятельно. Он ориентировался по ветру. Потому что ветер и остатки снежной крупы шли с севера. А в этих краях ветер долго дует в одном направлении.

Итак, Рёдер, освобожденный от сбруи, повернулся. Женщина уже прицелилась, упершись прикладом в бедро. Правая рука у нее, как и вчера, была на перевязи. Если бы старшина не предавался столько времени проклятым раздумьям, когда разговор зашел о лошади, все сложилось бы по-иному. Скверная привычка у русских — подолгу размышлять.

«Будь по-твоему, женщина».

Рёдер проговорил это на своем языке. Громко и отчетливо. Хотя в горле у него першило. Кто знает, не надумала ли женщина перед расстрелом запретить ему говорить по-немецки или вообще издавать какие-нибудь звуки. Во всяком случае, она яростным дискантом и без секунды промедления обрушила на него целый поток русских слов. Чаще других повторялись два: «давай!», во-первых, и «сатана», во-вторых. Тут и не захочешь да поймешь. Пошел прочь, сатана! Больше здесь не показывайся! Можешь есть снег, можешь глотать себя самого! Пошел прочь, сатана! Хотя она, вероятно, пустит и пулю вдогонку, когда сатана решится уйти прочь. Кто уходит, у того остается надежда. Последнее, самое последнее, чтоб ему провалиться, милосердие.

Рёдер напрягся. Хотел еще раз показать женщине, что он уже принял должную позу и готов встретить смерть, как подобает. Женщина не переставала что-то выкрикивать яростным дискантом. Сколько времени человек может стоять в позе?

— Расстрелять! — в отчаянии завопил Рёдер тоже по-русски.

И тогда женщина смолкла. Она стояла чуть согорбась. Из-за прижатой к бедру винтовки и поврежденной руки. А еще из-за того, что злость клонит человека к земле. Поэтому женщина смотрела на муж-

чину снизу вверх. В ночи и в горе у человека обостряется зрение. У нее было все то же недоброе лицо, что и днем, когда он по ступенькам спускался впереди нее в погреб. Рёдер узнал это выражение. Оно уже было ему знакомо. Резко мотнув головой, женщина дала ему понять, чтобы он убирался на все четыре стороны. И это было ее окончательное решение, потому что она швырнула винтовку в сани, сама встала между оглоблями, а пленного — свою распряженную лошадь — оставила посреди ночи и посреди степи. Рёдер еще некоторое время слышал, как шуршат полозья по снегу. Потом все стихло.

Разум явно отказывается мне служить. Я мог бы и раньше догадаться, что она не намерена меня убивать. Ведь картошку она у меня не отняла. Если поглядеть сзади, мешочек с картошкой отчетливо виден под шинелью. Ей трудно теперь придется, сани тяжело оттягивают постромки, особенно когда работаешь одной рукой. Но, поднимаешь, Мария, я не имею права ей помогать. У нее остался один ребенок. А еще потому, что и сама она — неплохой человек. Ты мне вот что скажи, Мария, ты ведь лучше разбираешься в женщинах. Скажи, посему она заставила меня тащить пустые сани? Приказала? Или нет? Или я сам запрягся, по доброй воле? С чего я взял, что должен умереть в оглоблях? Хотела ли эта женщина, чтобы я умер, как умирают лошади? Помогли мне, Мария. Скажи, что мне думать. Я не хочу сдаваться. Я не хочу быть лошадей, не хочу умирать. Не хочу жить, как лошадь. Я ведь не лошадь, я человек.

Беззвездная ночь, степное бездорожье. Рёдер собрался держать путь на юго-восток. Он сказал себе: если ветер, как я и предполагал, дует с севера, а мне надо на юго-восток, значит, ветер должен дуть мне сзади, искоса, в мочку левого уха. А там что бог даст! Время от времени Рёдер останавливался, снимал наушник и проверял свой курс по ветру. Отсутствие посоха очень его удручало. Он знал, что крепкая палка, палка — спутник и проводник, была бы ему очень кстати. Палка идет впереди человека, она говорит ему, куда можно ставить ногу, а куда нельзя. С палкой ты можешь даже плясать при виде опасности. Злобный собачий вой, вот уже сколько времени доносящийся спереди, еще раз подтвердил, как ему не хватает палки. Все наличное на что-нибудь да согонится. Но тот, кто без дубинки выходит навстречу опасности, тому несдобровать. Рёдер надумал обойти опасность стороной. Отклонясь к юго-западу, он тотчас ощутил перемену ветра на своем правом ухе.

Все свои надежды он сейчас возлагал единственно на овин. Он напирал глаза, чтобы не прозевать черную массу овина, который вчера, к своему великому удивлению, обнаружил поблизости от фольварка. Овин большой и высокий, как дом. Вот только лежал он в прямо противоположном направлении, и с каждым шагом Рёдер уходил от него все дальше и дальше. Наверно, лучше бы всего ему топать на восток. Чтобы ветер дул в лицо. И чтобы оставалась надежда на овин и на приют, который можно в нем обрести. Не бояться холода. И наконец, выспаться. Не сдаваться — это, помимо всего прочего, означает сохранять спокойствие, даже если спасительная мысль слишком поздно осенит тебя. Но это отнюдь не означает, что ты можешь спокойно опуститься на снег и заснуть. Ибо такое спокойствие грозит обернуться вечным покоем. Нет, идеи должны приходиться в голову своевременные, если только ты хочешь выстоять. Своевременные и хитроумные. Как это говаривал старик Бромберггер: «Покуда человек окончатально не свихнулся, он меняется в лучшую сторону». Впрочем, насколько я помню, он и еще кое-что к этому добавлял. Вот что добавлял старик

Бромбергер, Давид Бромбергер: «...меняется в лучшую сторону, хотя ему самому от этого не становится лучше». А Давид был достаточно хитроумный. И мысли у него всегда были своевременные. И всегда он колесил по разбитым дорогам из деревни в деревню. Зимой и летом. Даже если какая-то идея слишком поздно тебя осеняет, ты не должен поддаваться беспокойству. Ты не должен путать предпоследний шанс с последним. Овин возле изрешеченного пулями фольварка был бы для тебя не более как предпоследним шансом. А ты должен охватывать взглядом все, раз ты хочешь выдержать.

Ночь длинна, как Страшный суд. Если когда-нибудь настанет день, я непременно его отпраздную. Когда рассветет, мы перекусим. Морковка, конечно, лучше бы, чем сырой картофель. Морковь полезна для глаз. А сырой картофель хорош против цинги. Тушеный картофель с морковью. На неделе Мария дважды его готовила. По четвергам — с говядиной, по понедельникам — без. Вот только зажигалки нет. А к завтраку картошка должна быть готова. Ну, Рёдер, придумавай же что-нибудь.

Рёдер пальцами выудил из мешочка две картофелины. Взял в каждую руку по одной и снова сунул руки в рукавицы. До завтрака сырые картофелины хоть немного разогреются. Тот, кто хочет выжить, должен прежде всего заботиться о своем желудке.

Теперь прямо на юг, чтобы ветер дул в затылок. Вот если бы Плишке сбежал, он бы наверняка долго не продержался, потому что Плишке не владеет собой в смысле еды. Он что найдет, то и слопает, хоть замерзшее, хоть заплесневелое. Помните мое слово, Плишке еще застрелится. Возможно, он больше смыслил в жизни, чем мы, бродяга, галицийский немец. Одни только австрийцы вообще знали, что это за Галиция такая. В мехах и шкурах Плишке тоже разбирался, как дипломированный скорняк. Каждый год шеф брал Плишке на ярмарки — закупать меха. Возил аж до Лейпцига, а в мирное время даже куда-то в глубь России. Плишке знал, как делают деньги. Только сам их никогда не имел. Теперь мы с ним квиты. Один раз он мог меня продать. И тогда не миновать бы мне тюрьмы и штрафбата. Но он только пригрозил: «Ой, Рёдер, подвинти гайку, не то угодишь под военно-полевой суд». Пригрозил, но не донес. Зато и потрошил меня потом, как рождевшегося гуся. Ты почему говоришь: спер? Я не спер, а взял у тебя, Рёдер. Ты, поганец этакий, разве не помнишь, что за тобой должок?

Мысли Рёдера побежали по кругу, но теперь в обратную сторону. За эту ночь он уже однажды поминал свои долги, долги, которые складываются из причастности и непричастности. Поминал, по вполне понятной причине считая, что идет в свой последний путь и по непонятной причине тащит за собой пустые санки. А случай с Плишке произошел почти год назад. Им велели доставить из Брянска молодое пополнение. Из Брянска. Свежую кровушку. Числом шестьдесят человек. Салажата еще пылали вдохновением и жаждой подвигов. Сопровождающий их офицер тоже был в России новичком. Он заставил их обоз, состоящий из трех грузовиков, ехать всю ночь напролет. Прямо и неуклонно — через брянские леса. Луна была красивая, как по заказу. И произошло то, о чем господин капитан и слушать не пожелал. Нападение партизан. Пятнадцать убитых. Хотя ничего не скажешь, господин капитан сражался как лев. Сам захватил трех партизан. Карательная группа. Добровольцы — шаг вперед! Салажата прямо дрались за эту честь. Уже занималось утро, когда карательная команда, одинаково чеканя шаг и с одинаковыми лицами, тронулась в путь. Рёдер и Плишке были в числе собравшихся по приказу зрителей. Когда трех захваченных партизан расстреляли, Рёдер сказал Плишке:

«А ты видел, как стояли русские?» Плишке притворился, будто не слышит. Но Рёдер не мог молчать о том, что видел.

Их малость познабливало, это так, и они смотрели поверх голов команды с таким выражением, словно хотели сказать: «Ну, стреляйте, чертovsky выродки, стреляйте, гады». Так истолковал вслух их молчание Рёдер. Потому что это засело в нем как блуждающий осколок. Будь его сын среди этих салажат, он бы тоже непременно вызвался добровольцем. Он бы выскочил первым. Око за око, зуб за зуб. Так учили его. А если бы самого отца назначили в ту команду, тогда как? Он ведь не отказался бы выполнить приказ... Вот что пришло Рёдеру в голову, когда он тащил через ночь пустые сани, когда у него первый раз в жизни отвратительно занял мускул, тот самый мускул, на котором подвешено сердце. Сам он такой же выродок, но выродок, который готов умереть, как и положено умирать на рассвете. Он по-прежнему готов вбил себе в голову, что это непременно произойдет чему-то накрепко вбил себе в голову, что это непременно произойдет на рассвете. И, проникшись столь твердым убеждением, он избрал себе чуждые образцы для подражания. Тех трех партизан. Но воспроизвести в точности их поведение он не сумел. Нервы под конец не выдержали. И он попросил о смерти как о благе. Будет ли это для него счастьем?

Описывая дугу вокруг воющей собаки, Рёдер не был в этом уверен. Вот холодные картофелины в погребе, из которых он две согрел сейчас в руках, — картофелины были счастьем. Счастье — это случайность. А за весь минувший день и за всю ночь ничто не было случайностью. Говорить здесь о случайности неуместно. Столько-то он теперь знал. Ему даже стало как-то неудобно от того, что он теперь так много знает. Но кто не хочет подвести черту, сказал он себе, тот должен разбираться и в тончайших оттенках. Наступит утро, и земля будет твоей. Вот станет светло, и земля будет дальше вращаться вокруг солнца вместе с тобой.

И когда он, подгоняемый северным ветром, изменил направление и склонил голову под бременем гнетущих мыслей, ему вдруг вспомнилось, что та женщина швырнула винтовку в сани, словно тяжелую ношу, просто взяла и швырнула. Хотя новые гнетущие мысли пригнали его голову к земле, баялая простота неведения повелевала остановиться и громко вымолвить самое простое, что можно сказать при таких обстоятельствах: «Вот ведь как бывает!»

Он застыл с приоткрытым ртом, молитвенно прижав к груди рукавицы с картофелинами.

Когда надо было действовать, ты, Мария, всегда оказывалась малость смысленнее, чем я. Вот и теперь ты наставила меня, сказала, что мне думать, теперь, когда от этого так много зависит. И так, я должен думать о том, что женщина швырнула свою винтовку в сани. А из этого следует, что она не ждала от меня больше ни глупых, ни злых поступков. Ты видишь, Мария, как мало-помалу становится светло? В одном месте уже возникло слабое сияние. Когда станет светло, я сделаю свои картофелины. Если долго жевать сырую картошку, она делается словно поре. Я голоден как волк. Но есть я буду очень медленно. Я должен бережно расходовать свои запасы. И свою силу тоже. Чтобы поесть, надо сесть к огню. Пойду навстречу свету. Ведь ночь еще не кончается, понимаешь, Мария? Это не рассвет, это костерок горит вдали. Горит на земле, отражается на небе. Правда, тут недалеко и ошибиться. У костра сидят люди. Пожалуйста, пусть меня схватят. Беды не будет. Главное, врать как по-писаному. Порой, когда хочешь уцелеть, приходится говорить неправду.

Мария! Я сбился с пути! Я вижу фуру, я вижу лошадь. И палатку. Мне туда нельзя. Для них я мертв. Если я заявлюсь к ним без единой

бросить страх, но ведь можно отбросить и выдержку, можно упасть духом. А зачем женщине падать духом? С какой стати? Лучше честно украсть, чем плохо схитрить. Ты меня понимаешь, лошадь? Старшина, тот бы понял. А сейчас самый благоприятный момент. Сейчас или никогда.

Идея с честными намерениями украсть лошадь возникла у Рёдера во время речи, обращенной к лошади. Внезапно. К концу речи. Он встал. Сейчас, минут через десять или, скажем, пятнадцать после того, как солдат подбросил дрова в костер и снова заполз в палатку, момент самый подходящий. Сейчас наверняка все спят крепким, глубоким сном. Только два пункта вызывают сомнения. Первое, что старшина не спит, а размышляет. Второе, что, если лошадь его учует, она с радости загрохает ручкой от ведра. Поэтому Рёдер не направился напрямик к лошади и к костру. Для начала он ушел с наветренной стороны, описал еще половину дуги и подошел к биваку с запада. Идти, не производя шума, ему было нетрудно. Земля окаменела от мороза. И когда под ногами рассыпчатый, легкий снежок вдруг издавал скрип, Рёдер на мгновение замирал. Ближе к огню, между костром и фурой снег не скрипел. Лошадь он сперва угостил двумя картофелинами прямо из рук. Двумя — как и себя. После чего лошадь заснула морду ему под шинель. Пока все шло хорошо. Теплое дыхание лошади согрело ему лицо и шею — наверно, так чувствовал себя первый человек, когда господь вдохнул в него душу живую. Прежде чем отвязать намотанный на ось конец недоуздки, он выдернул проволочку, на которой висело ведро. Жестяное, оцинкованное ведро вполне может заменить исчезнувшую зажигалку. А зажигалка — вещь нужная. Он бросил в ведро немного горящих углей из бивачного костра, наполнив его примерно до половины. Теплое, божественное дыхание лошади подсакало эту затею с ведром. Без огня человек — не человек. Тем более когда стоит такая холодина.

Рёдер повел жеребца шагом на коротком поводке. Два одеяла, из которых вне всякого сомнения одно, а то и оба раздобыл Плишке, Рёдер тоже бы с превеликим удовольствием честно украл, как и лошадь. Но не надо злоупотреблять удачными идеями, не надо подбирать то, чего вообще никто не терял. Снова нырнув в ночную тьму, он ласково попросил жеребца, чтобы тот разрешил вскочить ему на спину и поскорее ускакать прочь. И еще чтобы жеребец не боялся горячего ведра. Он, Рёдер, проследит, чтобы горячая жесть не прикасалась к лошадиному боку. Тем более бок от ведра отделяют попона и торба с овсом. Лошадь поняла его так, что лучше и не надо. Позволила вскочить и сразу пошла легким галопом.

Рёдер пустил ее против ветра. Ему надо было возвращаться в северном направлении. Его план окончательно созрел. Когда рассветет, легче будет ориентироваться. Когда светло и не метет снег, в степи далеко видно. А хорошо видит тот, кто видит первым. Всадник увидит в степи далекий домик, который отыскивает. А люди в том домике его не увидят. Поскольку они его не ищут. При свете дня он хотел бы объехать вокруг домика, оставаясь все время примерно на одном от него расстоянии. Ему надо только отыскать овин возле разрушенного фольварка. Там можно будет вырыть в соломе дыру и вздремнуть часок-другой. Не до разгара дня, нет, от силы три-четыре часа. Потому что, когда они хватятся лошади, у старшины возникнут некоторые подозрения и он организует поиск. Поисковая группа сперва наведается в каменный домик и лишь потом в овин. Из такого овина можно соорудить

временную конюшню. Достаточно подпереть ее кольями. Правда, Рёдер не думал, что старшина отрядит людей искать лошадь. Воруток нынче много, кто честным, кто нечестным путем. А находят мало. Если старшина — человек неглупый, он предпочтет обойти стороной и кирпичный домик, и соломенную скираду. Если запрягутся трое, фуру можно доставить в лагерь и без лошади. Словом, Рёдер не думал, что его станут искать. Но ведь человек может и ошибиться. А Рёдер хотел действовать наверняка. Он хотел вздремнуть часок-другой — тем временем испекутся картофелины, а лошадь подкормится сечкой — и уехать прочь от овина. К холму. Да, может быть, к холму. И только на следующую ночь он перегонит лошадь поближе к домику. А уж от туда Обжора и сам найдет дорогу.

Он же тем временем найдет свою дорогу, тоже сам. К юго-востоку. У кого хватает смелости докопаться до Почему и продуманно сделать Необходимое, тот родился под счастливой звездой. А если и не под счастливой, тоже не беда.

Зажимая поводья в одной руке, а ведро с жаром — в другой, Рёдер поехал сквозь нескончаемо долгую ночь против ветра. Когда ведро начинало раскачиваться, за конем и всадником поднимался шлейф искр.

Солнце желтого сырного цвета прошло больше половины пути до зенита, когда всадник, наконец, завидел свою Мекку, куб овина. Судя по первой полосе рассвета и блеклой окраске солнца, ветер за ночь переменял направление с севера на северо-восток. Если двигаться против ветра, Рёдер должен был довольно точно выйти к кирпичному домику. Да и жеребца, который с рассветом учуял незримо веющий им в лицо дым очага, удавалось только при помощи мешка с сеном направить на предусмотренную Рёдером дугу вокруг хижинки.

Подъезжая к овину, Рёдер увидел, что он сметан из кукурузной соломы. Вчера, в метель, он мог разглядеть лишь его очертания. Да ему никто и не позволил бы подходить ближе, чтобы досконально разглядеть его со всех четырех сторон.

Впрочем, солома, она и есть солома, когда человеку хочется несколько часов поспать, да при этом не хочется замерзнуть. Его приятно удивило то обстоятельство, что овин уже имел вход высотой с человеческий рост и что к этому входу была привалена дверь. Тонкий слой снега перед дверью был девственно чист и малость бутрился. Но приятное удивление тотчас обернулось жестоким разочарованием. Только он попытался отставить дверь в сторону, как за дверью залая собака и раздался хриплый мужской смех. Прежде чем дверь всей тяжестью обрушилась на его голову, он успел еще сообразить, что хозяин не слишком рад его приходу, и свет померк у него в глазах.

Довольно скоро он пришел в себя. Он лежал под дверью, а дверь лежала у него на груди и на животе. Где-то поблизости от своего лица он почувствовал злобное собачье дыхание. Выбраться из-под двери Рёдер никак не мог. На ней стоял мужчина и по-прежнему хрипло смеялся. Когда мужчина перестал смеяться и слегка покачался на двери, Рёдер услышал, как рядом тихо шипит снег. Перед тем как взяться за дверь, Рёдер отставил ведро немного в сторону, и теперь горячее днище растапливало снег. Способность рассуждать вернувшись вместе с сознанием. Рёдер увидел над собой человека в русской офицерской форме. Лет примерно от тридцати до сорока, без шинели и без фуражки. Очень грязная гимнастерка была у ворота расстегнута. Но сорочка под очень грязной гимнастеркой была очень чистая и с пестрой вышивкой. Сдвинув брови так, что между ними легла верти-

кальная складка, офицер словно бы задумчиво глядел на него сверху вниз. От удара дверью у Рёдера все еще гудело в голове. Но, памятуя о своем желании выдержать, Рёдер и в этой ситуации перво-наперво постарался воспринимать все с предельной точностью. Вес стоящего на нем он в общем-то выдерживал, потому что на легкие никогда не жаловался. Вот для того чтобы выдержать взгляд этого человека, понадобилось до предела напрячь волю. Человек был плохо выбрит, однако узкие, темные усики над верхней губой были тщательно подстрижены. Волосы гладко зачесаны, пробор где-то над самым ухом. По сути, этот хрипло смеющийся мучитель Рёдера был довольно красив. Глаза большие и темные, но взгляд колючий и недобрый. Тихое шипение ведра в снегу и колючий взгляд создали у Рёдера впечатленье, будто рядом с ним шипит газовая горелка. Будто сам он лежит под прессом. И будто сейчас его будут продавать с торгов.

И вдруг все изменилось. Потому, быть может, что Рёдер вдруг услышал немецкие слова. Правда, их слыше надобности раскатывали по небу, но тем не менее это были вполне отчетливые немецкие слова и вполне безупречный немецкий язык.

— Тебя как зовут? Ты что, язык проглотил? Откуда ты идешь? Ты убежал из лагеря, скотина? Откуда у тебя ведро? Откуда лошадь?

Тут Рёдеру все-таки не хватило воздуха. Он захрипел. Ответить он в общем-то мог бы, но пока этот человек стоит на нем, Рёдер решил не отвечать. Он не позволяет выдавливать из себя показания таким изощренным способом. Офицер — на нем были капитанские погоны и множество наград на зеленых и красных лентах — понял, почему ему не отвечают. Он слез с двери.

— Встать!

Рёдер повиновался.

— Меня зовут Карл Рёдер.

Началась игра между правдой и ложью. С этой минуты он стал собственным братом. В сложившихся обстоятельствах он ничего необычного не видел, хотя и представлял себе свое задержание несколько иначе. Главное, оно произошло чересчур рано. Лошадь еще не была доставлена по нужному адресу. А ему хотелось непременно пройти через соломенный овин. Как через игольное ушко в царствие небесное. Размеров дыры для прохода вполне хватило бы. И углубление внутри, как только что углядел Рёдер, было достаточно большим. Но пес, крупный косматый зверь, бросался на лошадь, не подпуская близко. Обжора отошел на несколько шагов, хрупал кукурузной соломой, и вид у него при этом был прелукавый.

— Звание?

— Обер-ефрейтор.

— Пехота?

— По происхождению — легкая артиллерия.

Офицер снова рассмеялся, так же громко и хрипло.

— По происхождению? Никак твой старик переспал с пушкой?

Кто же ты по происхождению, отвечай, болван!

Офицер и впрямь отлично изъяснялся по-немецки. Образованный человек.

— Сельскохозяйственный рабочий.

— А, вот это кстати. Да еще как кстати! Лично я ветеринар. Ну, валяй, обер-ефрейтор, сельский рабочий, погонщик волов Карл Рёдер, поприветствуй штабс-ветеринара как положено! Без головного убора! Вы что, после Сталинграда лишились последнего рассудка? Ну, давай действуй! Все начисто забыл? Немецкое приветствие отдается без го-

ловного убора. Рука на уровне глаз! Валяй! Выше руку! Хайль! Хайль! Ты что, не желаешь? Или не решаешься? Надо подсобить? Эт-то мы можем!

Офицер был высокий и сильный. Он поднял тяжелую деревянную дверь, словно она была из фанеры. Рёдер не знал, что офицер собирается делать с дверью. Еще раз поиграть в ту же игру? Дверь опустилась в снег за его спиной. При первом ударе у Рёдера слетела шапка с головы, но он обнаружил это, лишь когда второй удар обрушился на его голову и спину. Он снова упал, теперь ничком. Но на этот раз плечам досталось больше, чем голове. Рёдер поднялся и встал, как прежде, спиной к своему истязателю.

— Еще разок тот же кавалер с той же дамой? Как это у вас говорится? Легкие подзатыльники благотворно сказываются на умственных способностях.

Очередной взмах дверью, новые удары по затылку. Рёдер решил не опускать голову. Он видел, что его мучитель действует лишь в полсилы. Хотя и видел, но выполнить свое решение не смог и несколько раз увернулся. Пес тоже надумал принять участие в развлечениях. Он набросился на Рёдера сбоку. Но тут дверь полетела в сторону, офицер схватил пса за косматый загривок, оторвал от Рёдера и поднял в воздух. Пес задергал лапами, задние шаркнули по земле.

— Ты-то чего расхрабрился, убудодок! Тебе кто позволил совать свой нос в мои дела?

Удар кончиком сапога по ведру. Жар, угли, зола высыпались на снег. Ведро дребезжа откатилось в сторону. А туда, где лежали угли, грудью прижали пса. Пес не давался, но хозяин был сильнее. Пес заскулил. Запахло паленой шерстью. А пока все это происходило, жеребец взял да и прошел ворота в царствие небесное и, уже стоя в глубине овина, заржал. Тотчас на его ржание громче и тоном выше откликнулась другая лошадь. Офицер отпустил пса.

— Твой жеребец занимается осквернением расы.

Пес на брюхе и груди подполз по снегу к своему господину. Господин с ним заговорил:

— Ты знаешь, у нашей барышни течка. И если этот болван жеребец исхитрится покрыть ее, нам придется его пристрелить. А ну, кусь, кусь!

Счастливым возвращенной благосклонностью хозяина, пес прыжками подскочил к жеребцу. Выйдя из овина, жеребец начал вертеться на месте и взбрыкивать передними и задними ногами. Пес хотел вцепиться ему в пах. Но тогда жеребец взбесился бы окончательно. Рёдер кинулся за ведром. Хотя в ведре уже ничего не было, он знал, что собака после пытки огнем все равно его боится. Но не он, Рёдер, был хозяин собаки, и та не унималась. Офицер с любопытством наблюдал эту сцену. Рёдер ткнул горячим дном ведра собаке в морду. И угодил в нос. Собака тотчас с визгом отбежала. Прошло немало времени, прежде чем жеребец перестал лягаться, становиться на дыбы и бить землю копытом. Когда он, наконец, успокоился, офицер сказал:

— Знаешь, обер-ефрейтор, ты мне нравишься. Ты любишь свою лошадь и ненавидишь своих врагов. А как звать твою лошадь, Карл Рёдер?

— Ее зовут Арестант, хотя это никакое не имя для лошади.

— Отлично. Каков хозяин, такова и скотина. Позаботься о своей лошади и будь моим гостем. Ты пришел очень кстати.

Сперва позаботиться о лошади. Потом хорошенько поразмыслить. «Я ему сказал: Арестант, хотя это никакое не имя для лошади». Он

же мне ответил: «Каков хозяин, такова и скотина». Гляди в оба, Карл Рёдер, ты явно имеешь дело с комиссаром.

В развалинах фольварка он нашел место, где можно было привязать жеребца. И где жеребец был надежно укрыт как от кобылы, так и от собаки. Собака теперь ходила по пятам за своим господином. В овине можно смело разместить четырех лошадей, двух слева, двух справа, и еще остается широкий проход посредине. Построено все очень основательно. Крыша, стены, опорные столбы — сплошь строевой лес. На войне не принято спрашивать, кто, когда, почему и зачем это выстроил. Выстроено — и все тут. Войдя в конюшню, Рёдер учуял запах лука. Офицер сидел на земле, на расстеленных пополах. Он не чистил луковицы, он растирал кожуру руками. Глаза Рёдера устремились туда, куда уже нацелился нос. Рядом с луковицами — хлеб и сало. Натюрморт с прозрачной бутылкой. От вида и запаха закружилась голова. Но офицер потребовал соблюдения приличий.

— Разве гость смотрит первым делом на угощение? А ну, куда смотрит гость, переступив порог? Сперва он смотрит на хозяйку дома. Вот, полюбуйся. Какого происхождения эта лошадь? Стой! Ты должен угадать с первого взгляда. Пусть даже тебе ничего не видно, кроме хвоста. Итак, происхождение.

— Арабское.

— Как узнал?

— По репице. Очень мощная.

— Первый экзамен выдержан. Теперь второй; сколько лет кобыле? Эй, Леонка, тут один тип хочет заглянуть тебе в зубы, барышник один. Но смотри! Догадки в расчет не принимаются. Только факты и доказательства.

Чтобы заглянуть чистокровке в рот, нужна наука. Чистокровка сразу чувствует, кто эту науку прошел. Рёдер развернул лошадь, чтобы на нее падал свет. Дал ей обнюхать свои руки. Запах жеребца, кажется, не вызывает у нее отрицательных эмоций.

— Если судить по чашкам на зубах, господин ветврач, шесть уже есть, семи еще нет.

— Вздор! Погляди как следует на забелины.

Нет, комиссар, там, где дело идет о лошадях, такого, как Рёдер, с толку не собьешь. После шести лет у лошади чашки стираются на нижних резцах. После семи — на малых коренных. Это происходит в определенном порядке до одиннадцати лет. После одиннадцати определить возраст труднее. Тогда забелины на зубах исчезают окончательно. Тогда надо быть очень опытным лошадиником. Вот Обжоре, к примеру, тринадцать, если судить по зубам. Но об этом он меня не спросит. Комиссары любят ездить на молодых лошадях.

— Правда моя, господин ветврач, от шести до семи.

— Вторым экзамен выдержан. Третий. Если ты покупаешь лошадь, по каким приметам ты узнаешь молодой прикус, по каким сработавшийся?

— Если кто, к примеру, не может отличить природу от подделки, господин ветеринар, тому лучше катиться куда подалеже. Верхом на тупом ноже. Хоть до Рима, коли ему хочется. Глупость надо облагать налогом, как говаривал Давид Бромбергер.

— Ну ладно, Рёдер. Экзамен сдан. Садись. Сперва мы с тобой поедим, потом отправимся в ближайшую комендатуру. А перед едой полагается что-нибудь выпить. Равно как и во время еды. Равно как и после нее. Вот за исключением этих трех случаев пить не положено. Итак, Карл Рёдер, за что мы выпьем?

— Если не побрезгуете, у меня есть стопочка.

— Оч-чень благородно. Но чтоб без уравниловки. Четвертушка — мне, восьмушка — тебе. Итак, за что же, Рёдер?

В премудрости тостов Рёдер разбирался куда хуже. Он, конечно, мог изречь: «За то, чтоб нам выдержать!» Но, по его мнению, это был не тост, а жизненный принцип. Такие вещи надо уметь различать. Большая разница даже в том, как ты выразишься, то ли «в утренних сумерках», то ли «когда светало». Правда, все тосты начинаются предлогом «за». Но как их примут, заранее предсказать трудно. За вашу специальность, господин ветврач? Нет, это чистый подхалимаж. Это не годится. Чтобы у наших детей шея была подлинней? Это обычно говорят в трактире. С чего у них вдруг станет длинная шея? Зачем? Почему? В трактире таких вопросов никто не задает. А я где? Рёдер вздрогнул и торопливо с облегчением сказал: «За жизнь!»

Он был доволен собой. Ему пришла в голову неплохая мысль. А главное — своевременная. Он был убежден, что достойно держал себя в обществе комиссара, который строит из себя образованного. Кроме того, у него и на самом деле было, по меньшей мере, две новых уважительных причины выпить за жизнь. Если бы Мария могла сейчас его видеть, она бы им гордилась. Но офицер скорчил почему-то кислую гримасу. Тост не мог ему не понравиться. Просто по лицу комиссара никогда не угадаешь правды.

— Как прикажешь понимать, Рёдер Карл, как понимать: за жизнь? Клоп ведь тоже радуется, что живет. Особенно когда укусит тебя и напьется твоей крови.

— Но я-то ведь не клоп, господин ветеринарный врач, я ведь человек.

— Ах, Рёдер Карл, ты, оказывается, человек?

Это одна из составных частей его тактики выматывания: он каждую минуту обращает ко мне по имени, так и чудится, будто я — это вовсе не я, а мой подлый братец.

— Давай лучше выпьем за ненависть. За ненависть человека, который действительно человек, за ненависть, которая поддерживает чистоту жизни. А впрочем, пей за что хочешь, это не приказ.

Изображает прямотушие. Держи ухо востро. Рёдер Карл!

— Ну ешь же! Налетай! Ты — мой гость. А мы — гостеприимный народ. В нашей стране ты получишь еще много уроков. И не таких приятных. Я очень на это надеюсь. Ты чего это подавился? Хлебом и правдой человек не должен давиться. Давай лучше расскажем друг другу что-нибудь. Побеседуем, так сказать, за едой. Пункт первый: кто ты? Пункт второй. Как ты, будучи военнопленным, оказался в этом сарае, да еще с лошадю, да еще совсем один посреди степи? По первому пункту я бы тоже хотел выступить. Рассказать тебе; кто я по происхождению? По происхождению и мало ли еще по чему. Да не торопись же ты. Кто торопится за едой, у того вырастают длинные уши.

— А у нас говорят: что у тебя в животе, того никто больше не отнимет.

— Но ведь то, что у тебя в животе, полагалось бы сперва заработать честным трудом. Не так ли?

— Хорошо говорить тому, у кого уже живот полный. Тоже истина, господин врач.

— Рёдер Карл! Скажи по чести и по совести, если только они у тебя еще остались, ты небось сейчас подумал: ну и отбрил же я его. Верно?

— Не стану спорить, господин ветврач.

— Вот видишь, человек словно раскрытая книга. Самое важное, как обычно, следует читать между строк. А теперь слушай внима-

МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ ■ СОЛДАТ И ЖЕНЩИНА

тельно. Я расскажу тебе, кто я по происхождению и по всему прочему.

По происхождению: буржуазный элемент.

По месту и дате рождения: Одесса, одна тысяча девятьсот девятый.

По темпераменту: холерик.

По натуре: миролюбив. Физиономия не для оплеух, прошу заметить.

По 1922 (с 1919) — эмигрантский сынок в Вене.

По отношениям с советской властью: снова приглашен на родину.

По отношению ко мне родины: опять любовь, опять побои.

По отношению ко мне крестьян: отправлен в институт.

По отношению ко мне учителей: один экзамен за другим.

По мировоззрению: постепенно стал большевиком.

По профессии: тебе уже известно.

По репутации: специалист — почти светило.

По официальному положению: ответственный за коневодство в данном районе.

По конкретному заданию: чрезвычайный уполномоченный армии в освобожденных областях между Чиром и Доном. По лошадиной части.

Так что, Рёдер Карл, если ты сумел прочесть между строк, знай: по лошадиной части я здесь царь и бог над... над самим собой. Думаю, я заслужил за этот рассказ еще одну четвертинку. А теперь давай рассказывай ты. Получишь за свой рассказ еще одну восьмушку. Но если ты собираешься меня обманывать, Рёдер Карл, можешь считать себя покойником.

Нет, это не ветврач, и не комиссар, и не образованный человек. Это дьявол во плоти. Такого можно перехитрить только правдой.

— Человек происходит от змеи, господин ветврач. Змей же сказал: вы не умрете и глаза ваши откроются. Итак, правда начинается с того, что звать меня Рёдер Мартин, а не Рёдер Карл. Рёдер Карл — так зовут моего родного братца. Но тот Рёдер Мартин, который сидит перед вами живой и невредимый, он, господин ветврач, по официальному положению все равно уже покойник. А как может человек, который по положению уже покойник, врать или, наоборот, говорить правду? Вот приедем в комендатуру, там мне покажут.

— Нет, когда мы приедем в комендатуру, тебе ничего не покажут. Просто объяснят. Но имей в виду, Рёдер Мартин! С этой минуты и впредь ты будешь иметь дело исключительно с советской властью.

И тут Мартин Рёдер без остатка выложил советской власти всю правду, которой он располагал. Покуда он ее выкладывал, где-то в закоулках мозга неудержимо вырвалась мысль, что он со своей правдой совершает тройное предательство: по отношению к старшине, к той женщине и к себе самому. Он снова почувствовал себя как в земляном погребке, когда к нему возвратилось сознание. И ему привиделось, будто сидит он среди переоборудованного под конюшню овина, перед чертом в человеческом облике, сидит и говорит чистую правду, и хотя эта правда может перехитрить черта, но зато его самого она делает трижды предателем. Мартин Рёдер почувствовал, как холод растекается по жилам, это было не хладнокровие, нет, не хладнокровие, а ощущение холодеющей крови. Еще одно тонкое различие, и его надо усвоить тому, кто хочет выдержать, пусть даже уплатив за это ценой предательства. Такой холод исходит от черта. А тот, от кого исходит холод, слушает рассказ Рёдера, полузакрыв глаза. Но не пропускает ни единого слова и ни единым движением лица не выдает

своих мыслей. Сидит как идол. Рассказ о сыне и о пистолете он выслушивает равнодушно, как объявление в газете: «Между Лигницем и Сталинградом обнаружены автопокрышки». Или что-то в этом духе. Поступок старшины вызывает у него еле заметную, усталую улыбочку. Во всей истории его, по-видимому, интересует только одно: поведение женщины.

— Значит, женщина сказала старшине, что, если он ей не даст лошадей, она возьмет одного из этих немецких жеребцов?

— Так точно, господин ветврач. Так перевел нам Плишке.

— А ты, Рёдер Мартин, что ты думал, когда тебя гнали в погреб словно немецкого жеребца? Что ты при этом думал? Вот это всего важнее между строками твоей довольно лживой, на мой взгляд, истории. Ты можешь ответить: не знаю, что я тогда думал. И это не обязательно будет очередная ложь, хотя что-нибудь ты наверняка думал. Значит, ты спустился в погреб более или менее добровольно. Не так ли, Рёдер Мартин?

— Да, именно так, господин ветврач. Добровольно.

— А почему? Почему, Рёдер Мартин? Из сострадания к этой женщине? Из христианской любви к ближнему? Или ты, быть может, подумал, что если эта женщина, которая очень даже недурна собой, что если эта женщина не получит четвероногую рабочую лошадь от властей, тогда ты предложишь ей свои услуги, чтобы делать вместе с ней зверя о двух спинах, а это тоже очень недурная работа. Или ты просто решил, что это самая подходящая возможность, отрекшись от собственного пола, таким путем смыться из лагеря? Ты, помнится, говорил, что ты не клоп, а человек. Вот и будь любезен, отвечай мне как человек, что ты думал в эту минуту. Надеюсь, ты это помнишь.

— Нет, не помню, господин ветврач. Я, собственно говоря, все время думал о Марии. Наедине с женщиной я был в погребе от силы несколько секунд. Может, столько, сколько нужно, чтобы выговорить слово «шапка», может, вдвое дольше. Я только одно забыл сказать. Эта женщина на меня вообще ни разу не взглянула. На мои руки — да! На мои ладони. Словно на руках есть ямки, как на зубах у лошади. И все же я не подумал, будто эта женщина смотрит коноу в зубы, чтобы не купить старую клячу. Я все время думал только про Марию. Мария тоже не любила покупать кота в мешке. Даже если речь шла о постельных делах. Вот почему и мальчик у нас так рано родился. Она хотела проверить меня до свадьбы. Вовсе не потому, что она была чересчур охоча до мужчин. Когда я порой пытаюсь представить себе, какой же она была, моя Мария, я, грешный человек, думаю, что она была как святая дикарка. Она не легла бы в постель со слабаком, но и с похотливым козлом тоже бы не легла. Мне кажется, я все время думал только о Марии. Но на самом деле я, возможно, говорил себе: не будь идиотом, Рёдер, не упускай случай избавиться от лагеря. Может, я в эту минуту был наполовину сумасшедший. Или целиком, кто знает. Но я хочу выдержать. Я дал себе эту клятву, господин ветврач.

Рёдер собирался продолжать, но офицер остановил его. Откинувшись на солому, устроил себе длительную передышку, предоставив Рёдеру терзаться сомнениями. Помолчав, офицер сам подхватил оборванную нить рассказа.

— Вообще-то говоря, я собирался переночевать в кирпичном доме. Как уже не раз ночевал. Женщина и ее свекровь охотно дают ночлег солдату, у которого есть удостоверение личности. И выставляют на стол все, что у них есть в доме и в погребе. Из-за метели я сбился с пути и вышел к дому очень поздно, уже после полуночи. Женщина открыла мне дверь. Несмотря на поздний час, она была одета, словно только что откуда-то вернулась. Она захлопнула дверь перед моим

А что ты сделал с моим табаком? Сам небось выкурил? Самокрутки наделал? Твоя бабка все тебе позволяет, так ведь? Думаешь, я не вижу, что у тебя в кармане штанов лежит моя зажигалка? Эх, парень, парень, я ведь даже и не знаю, понадобится мне еще на этом свете зажигалка или не понадобится. Я вообще не знаю, чем кончится для меня вся эта история. Если б я мог еще что-нибудь раздарить... Но война ничего не раздарила. Война только отнимает. У тебя и у меня.

Прошло не меньше часа, пока офицер с женщиной вернулись из степи. Что он ей говорил, что она говорила ему — об этом можно лишь строить догадки. Вопросы ветврача свидетельствовали о наличии определенного метода. Они проникали в суть вещей. Собственно говоря, каждый спрашивающий желал бы добраться до сути, чтобы узнать правду. Но лишь очень немногие до нее добираются. Потому что начинать браться на вопрос Как. Как, значит, им добраться до сути. И лишь очень немногие, такие, как, например, ветврач, — хотя в общем-то он тоже не зверь — знают, где она находится, эта суть вещей, и начинает расспросы с Что. Что ты хотел, что ты думал, когда... Я надеюсь, ты знаешь... От этого можно сойти с ума. А к женщине он, наверно, обратился с троекратным Что. Что ты хотела, что ты думала, когда пленный добровольно спустился перед тобой в погреб. Что ты хотела, что ты думала, когда разглядывала его руки? Что ты хотела, что ты думала, когда швырнула свою винтовку в сани, которые неизвестно зачем велела тащить в степь? Вот, наверно, какие вопросы задавал мучитель женщины... А женщина, наверно, тут же... Хотя, пожалуй, нет. Настоящая женщина никогда сразу не отрекается от себя. Ее даже правдой не припрешь к стенке. Как по глубинности отрекается наш брат.

Когда офицер с женщиной вернулись, разговор между этими тремя людьми не завязался. Было только короткое распоряжение. А именно: «сам себе господин» приказал, чтобы специалист Рёдер Мартин в качестве военнопленного был использован на восстановлении фольварка как составной части также подлежащего восстановлению совхоза. До переселения пленного в совхоз, что на данном этапе не представляется возможным, уже проживающие здесь советские граждане обязуются обеспечить жилье, питание и охрану пленного, а также эффективное его использование на восстановительных работах. Лошадь же, являющаяся собственностью Советской Армии, убежавшая и пойманная в степи, должна быть возвращена по принадлежности.

Свой распоряжения офицер завершил пристрастным доверком: — И будьте вы все прокляты до окончания войны.

Не сказав больше ни единого слова, он подпряг жеребца к кобыле и с этими непарными лошадьми ускакал в степь, сопровождаемый косматым псом.

У сваленных дров, почти на том же месте, где прошлой ночью женщина молча подталкивала мужчину дулом винтовки, стояли теперь они оба и глядели вслед уезжающему. Здоровой рукой женщина теребила пуговицу своего ватника. Хотела его застегнуть, но левой рукой у нее плохо получалось. С досады она оторвала пуговицу и теперь стискивала ее в кулаке, словно собралась, как в сказке, выжать воду из камня. Устремив неподвижный взгляд вдаль, женщина вдруг принялась выкрикивать что-то вдогонку всаднику. Какие-то непонятные слова. Она их растягивала, она их складывала из протяжных и резких звуков, в которых мешались жалоба и гнев. Какое у нее большое лицо. Вообще-то не только большое, но и мягкое, не будь этого крутого подбородка, блестящего лба и неподвижного

взгляда. Из всех слов женщины мужчина понял только одно, которое звучало так: война. Это слово она тоже исторгла из себя в протязном крике. Порой особенно резким получалось начало слова, порой — конец. Мужчина уловил общий смысл: она желала холеру в бок то ли войне, то ли, заодно, и скачущему прочь лошадиному богу. Перестань, женщина, ни он тебя не услышит, ни война. Война заваривает для нас, маленьких людей, свое варево. Наше дело его расхлебывать. Не так, так эдак. Вот что хотел мужчина без помощи слов внушить женщине, повернувшись к ней лицом. Но женщина испугалась, словно он чем-то ей пригрозил, и торопливо ушла в дом.

Когда смолк вдали стук копыт, вокруг мужчины разбушевалась тишина. Небо над головой виделось Рёдеру как огромная перевернутая плевательница, местами выложенная перламутром. Его охватило желание тараканом-многоножкой уползти во тьму, подальше от света. Он знал, что женщина прокляла его, его, маленького Мартина Рёдера — батрака на господском дворе, батрака на войне, никогда не любившего и не желавшего ни войны, ни господ. Но кому ж тогда вести господские войны, если не мне, маленькому человеку? И как генералам развязывать войну, если не найдется никого для участия в ней?

С умолающим стуком копыт, с воцарением этой страшной, полой тишины пришли ему в голову всякие мысли, которые никогда раньше не приходили. Сказать по правде, меня всю жизнь толкали, отталкивали, сталкивали, а я снова вставал, снова и снова. Почему я, собственно, вставал, снова и снова? Теперь я один, совсем один, лежу ничком. Мне тошно от войны. Женщине противно глядеть на меня. Лошади больше нет. Почему я должен снова вставать, если даже не знаю зачем? Почему? Он увидел топор рядом с коричневой, обугленной балкой. Вот если бы перед ним теперь возникла высшая справедливость с топором в руках, он без раздумий опустил бы голову на коричневую балку и в блаженном спокойствии ожидал бы удара сзади. Как и полагается дуракам из нашей братии. С Рёдером происходило то же, что происходит с нами всеми, когда мы видим огненный след, ведущий в кромешную тьму. Ему страстно захотелось обжечь ноги на этом огне.

Но топор он увидел не в руках некоей высшей справедливости. Он увидел топор в руках старой женщины. И не над Рёдеровой шеей был топор занесен. Напротив, она сунула топор ему в руки, чтобы он не отлынивал от работы, чтобы доколот все толстые поленья. Что до головы Рёдера, то на нее у старухи были другие виды. Когда он приставил клин к полену, она сбила немецкую форменную кепку у него с головы. А когда он невозмутимо продолжал работать, она все так же хмуро сунула ему другой головной убор — шапку из засаленного сукна и облезлого меха. Он взял шапку, надел, но она съехала ему на уши. Только если втрое сложить уши и засунуть их внутрь, шапка могла хоть кое-как удержаться у него на голове. А с его прежней старушка устроила прямо цирковое представление. Его кепку защитно-серого цвета она надела на длинный шест, а шест воткнула между поленьев. Шагах в трех от занятого работой пленного. Потом вызвала из дома мальчика. У мальчика было зареванное лицо и, как всегда, винтовка в руках. Старуха велела ему лечь на сено под навес. Отсюда, из положения лежа и без упора, он должен был попасть в кепку на шесте. Расстояние от силы десять метров. Каждый выстрел — прямое попадание. За каждое попадание — похвала. После каждого кепка начинала крутиться на шесте. Но Рёдер не отрывал глаз от своей работы. Тебе лучше всего не смотреть туда. Если ты будешь пялиться на мальчишку, мало ли что может взбрести ему в голову. Он может сделать то, чего недоделала мать. После пя-

того выстрела кепка совершила полный оборот вокруг своей оси. Целый магазин — на такую пустячную вещь. Но старуха этим была довольна. Пустячная вещь была разодрана в клочья. Старуха сняла ее с шеста, а мальчик ударом ноги отфутболил в погреб. После этого мальчик некоторое время глядел, как работает пленный — так наблюдают за исправно работающей машиной, — затем отправился к матери, чтобы рассказать о своем подвиге.

Ах, мальчик, мальчик, расскажи лучше своей матери, что ты видел плохой сон, но во сне ничего не боялся. Дровосек перевел дух, чтобы поправить на голове новую шапку.

Но старуха никак от него не отставала. Шинель свою он не снял, а только расстегнул. Она указала на пряжку ремня. Там написано: с нами бог. Плевать, что там написано, прочесть это она все равно не может. Ко всему старуха еще и недоверчива. Она любопытствует, что это висит у него на ремне. Мешочек с неиспользованными картофелинами, к мешочку справа прикреплен флажок со стопочкой — это стопочка моего мальчика. Слева же — котелок. Старуха желает иметь все. Все, что висит на ремне. И самый ремень в придачу. Цап-царап, мадам. Прошу вас. Проживающие здесь советские граждане несут ответственность за специалиста Рёдера Мартина.

Через час с небольшим работа была завершена и дрова аккуратно сложены в поленицы. Он охотно распилил бы каждую дровину на метровые чурбаки, чтобы поленица имела более пристойный вид, но как прикажете пилить, когда под рукой нет пилы. И как курить, когда нет табака. Рёдер прямо изнывал от желания затануться. Бумага для закутки у него еще была. Надо же насладиться выполненной работой. Он сел на поленицу. Сел спиной к дому. С тех пор как старуха отобрала у него ремень и все, что на ремне висело, его, Рёдера, оставили в покое. Ни женщина, ни мальчик из дома не выглядывали. Хотя его не покидало ощущение, будто за ним все время наблюдают. Поэтому, собственно, он и сел на поленицу спиной к дому, разглядывая свои руки. Руки спокойно лежали на коленях. Он еще мог приказать своим рукам спокойно лежать на коленях, не елозить бессмысленно, не отрывать от кителя пуговицу, не стискивать ее в кулаке, словно коровий сосок. Не мог он только упереть локти в колени и опустить голову на ладони. Он и рад бы принять эту позу, но ушанка съезжала ему на глаза. А лихо сдвинуть ее на затылок он не захотел. Эта лихость не соответствовала его положению. Итак, он сидел выпрямившись, опустив руки на колени, изнывая от желания покурить и гадая, что будет дальше. И пока сидел, он понял, что снова рано или поздно поднимется с места. Чтобы по крайней мере не подавить молодой женщине дурных примеров. Она близка к тому, чтобы сдаться. Она боится себя самой. У этой шапки, пусть она и слишком велика, есть три достоинства. Первое — в ней тепло, второе — она не привлекает к себе внимания и третье — она не дает человеку повесить голову. Надо бы поладить с бабушкой. Бабушка тоже не хочет, чтобы женщина сдалась. Бабушка — хоть и простовата на вид — без сомнения, главная в этом доме.

Кстати, бабушка не заставила себя долго ждать. Она вышла из домика и поставила к его ногам рюкзак с брезентовыми лямками. Рюкзак был небольшой, хотя и больше, чем его мешочек для хлеба. И был набит до середины. Под серым брезентом угадывались очертания фляги и котелка. Рёдер поднял рюкзак, чтобы прикинуть его вес. Килограмма два. Старуха настойчиво совала ему под нос растопыренную пятерню. Она пыталась что-то ему втолковать, но он ее не понял. Принимая во внимание вес рюкзака, пять пальцев могли оз-

начать только пять дней. Провиант на пять дней. Еще более настойчиво старуха ткнула пальцем в сторону фольварка. Приютить его здесь, у себя, они не желали. Кстати, и в приказе лошадиного бога говорилось о восстановлении фольварка. К боковой стене домика был прислонен нужный инструмент. Топор, лопата и двуручная пила. Рёдер проверил исправность топора и пилы. Хороший инструмент — залог успеха. Результаты проверки Рёдер остался недоволен и знаками показал бабке, будто натачивает. Та его сразу поняла. В боковой стене была дверь, пониже и поуже, чем передняя. Дверь эта велела в отдельную каморку без окон. Некоторое время глаза Рёдера осваивались с полумраком. Одна половина каморки была завалена орудиями для полевых работ, другая — инструментом для кузнечных, слесарных и колесных. Несмотря на темноту, старуха превосходно ориентировалась в этом хаосе и знала, где что искать. Она опробовала разводной напильник, проведя по нему кончиками пальцев. Специалисту нужен был инструмент с одной насечкой, шлифованный, трехгранный. То, что в конце концов отобрала бабка, было уже на свету вторично опробовано специалистом на все перечисленные свойства и здесь одобрено. Словами и жестами он еще попросил клеши. Старуха, которая держалась как заправский завскладом, не дав ему допустить, сказала «нету!». А потом дала понять, что с помощью уже выданного ею трехгранного напильника пилу можно не только наточить, но и развести.

Рёдер открыл рюкзак, чтобы опустить туда столь универсальный напильник. Теперь, когда общение приняло деловой характер, Рёдер счел уместным в присутствии той, которая наполняла мешок, ознакомиться с его содержимым, не покупать, как говорится,кота в мешке. Старуха тоже сочла это вполне резонным. Более того, она даже заставила его все тщательно осмотреть. Какая это блаженная повседневность, когда тщательно осматривать мешок, может попутно глянуть, а чем же это его собираются кормить во время работы. Прежде всего Рёдер углядел свою красивую желтую табакерку. В табакерку был насыпан чай из трав. В сохранившейся обертке из-под сахара теперь лежала соль. А травяной чай, возможно, гудит-ся на закутку. На грех и из палки выстрелишь. В котелке стучали и брякали бобовые, горох, крупа. Три четверти котелка. Во фляжке плескалась загустевшая жидкость. Ему велели понохать. Кислое козье молоко. В крышке котелка из него можно приготовить творог. Среди картошки и крошеной брюквы Рёдер обнаружил свою пряжку. Бог с нами и со всем миром. Когда он снова все уложил, старуха еще раз настойчиво потрясла у него перед глазами растопыренной пятерней. Ладно, бабушка, ладно, мне хватит. Только, может, добавьте краюшку хлеба? Немного «кляб»? «Нету хлеба».

Да, понятно, хлеба нет, она еще толковала что-то про кукурузу, он ничего не понял, но кивнул, будто все понимает. Старуха сердито повторила сказанное: кукуруза — маис, маис. Недоуменное выражение его лица показывало, что он так и не понял, какие надежды она пыталась ему внушить. Надежду на кукурузные лепешки. Рёдер повесил за спину рюкзак и пилу, взвалил на плечо топор и лопату. Настала пора отправляться в путь. Было бы лучше пройти позади домика. Но старуха его не отпустила. Велела подождать и принесла ему одеяло. Скатанное и перевязанное на обоих концах скатки. Чтобы перекинуть через плечо и наискось — через грудь, как носят русские солдаты на марше.

Теперь он больше не был похож на фашиста. Старуха внимательно его оглядела, как портной оглядывает клиента. И осталась чем-то недовольна. Тем не менее она потянула его за рукав, чтобы,

уходя, он прошел перед домиком. Ему не хотелось выполнять ее требование. Показать на глаза мальчику, а тем паче молодой женщине в измененном обличье, с которым он не успел пока свыкнуться, — это как-то отдавало театральным представлением. Он заартачился. Ты, бабушка, лучше позаботься о своей невестке, чтобы та не упала духом. Поняла? Это я должен тебе сказать. Есть вещи, которые можно понять на любом языке. Их можно услышать, угадать по интонации. Старуха в ответ еще раз сунула ему под нос растопыренную палочку, после чего ткнула указательным пальцем в землю. Стало быть, через пять дней ему надо явиться на это место. Какие там интонации, какие оттенки! Это собака понимает интонацию. А человеку подавай открытый текст.

Возле другого угла домика стояли молодая женщина с мальчиком. Человек смутился. Он не знал, то ли ему приподнять шапку над головой, то ли просто кивнуть, то ли пройти мимо, и все тут. Но женщина избавила его от колебаний, резко крикнув: «Стой!» И он остановился, повернувшись к женщине и к мальчику, но ни лопату, ни топор с плеча не снял. Женщина перевела взгляд на мальчика, словно чего-то от него ожидала. Мальчик упорно смотрел в землю. Мать его не уговаривала. Она ждала. Но мальчик вдруг убежал. И женщина его не окликнула. Она сунула руку в карман своего ватника и бросила мужчине, стоявшему в нескольких шагах от нее, какой-то предмет. Мужчина не мог его подхватить: у него были заняты руки. А будь даже руки свободны, он все равно от неожиданности не успел бы схватить трубочку — боковая стенка спичечного коробка, пять спичек к ней, и все обмотано ниткой. Пока мужчина поднимал трубочку да пока углядел воткнутую в нее иголку, женщина успела скрыться за углом. Хотела, значит, чтобы мальчик вернул мне зажигалку. А мальчик, наоборот, хочет оставить зажигалку у себя. Как свой трофей. Но она не стала его неволить, и это очень разумно с ее стороны. Детский ум легко смутить. Последствия могут длиться годами, и никто не будет знать, в чем причина. Когда наш мальчик пошел в школу, Мария должна была отдать ему свой старый велосипед. А она не отдала, побоялась, как бы с мальчиком чего не случилось, и тогда мальчик вбил себе в голову, будто должен доказать, что с ним вообще ничего не может случиться. Доказывал-доказывал, и сам в это поверил. Поверил, что всегда и во всем может положиться на свою счастливую звезду. Это ошибочный вывод, мой мальчик. Ты успел и сам это понять. Ты не дурачком ушел из жизни. Полагаться можно только на то, что один человек нужен другому. Жаль лишь, это мало кто знает. Вот здешние женщины знают. А мальчик еще нет. И зуботычинами этому не научишь.

Человек снял ушанку, сунул трубочку в иссекающую подкладку, и получилось, что он все-таки приветствует женщину, обнажив голову.

Овин, набитый кукурузной соломой, служил обиталищем великому множеству мышей-полевков.

Едва Рёдер устроился на жилье, он услышал, как они возятся, грызут и пищат. Стены и потолок потрескивали, будто плетеные кресла, когда в холодной комнате затопят печь. В середине прохода Рёдер вырыл яму глубиной на полметра. Яма заменит ему очаг. Если поставит над ней ведро, утяжелить его камнями и прорыть дополнительный ход для воздуха, получится своего рода обогреватель для ног. Он чувствовал, как немеют у него ноги, едва он перестает ими двигать. Держи голову в холоде, а ноги в тепле — и будешь здоров. Пока он рыл яму, мыши занялись положенным на землю рюкзаком. Они посыпались из своих нор как термиты, рыжева-

тые, полосатые, длиннохвостые. Нет, это были не полевки, а, пожалуй, житники, о существовании которых он знал только понаслышке. Полевки и не нагнали бы на него страх, но эти были крупные и злобные, как молодые крысы. Они прыгали и карабкались друг на друга, чтобы добраться до рюкзака брезента.

Рёдер видел, что наиболее активные грызуны уже залезли внутрь рюкзака. Он начал бессмысленно выкрикивать ругательства: чертово отродье, мразь поганая, нечисть проклятая. Он ворвался в их мерзостное копошение, угрожавшее его съестным припасам, ослепнув от ярости, он топтал мышей сапогами, колотил острием кирки. От мышиных трупов поднималась едкая вонь. Какая-то большая птица камнем упала с темного потолка. Большая пышноперая птица, она врубалась в скопище мышей, рвала на части, злобно шипела. Спаситель в беде — сова неясить — боевая птица — Железный Густав. Мышиная рать бросилась врассыпную. Но тут еще одна большая птица с крючковатым носом, со стальными когтями, поросшими густым пером, обрушила на человека мощные удары широких крыльев. Хорошо хоть, что, пока человек метался в слепой ярости, шапка съехала ему на лоб и глаза. Не то неожиданная атака второй совы могла оставить его без глаз. Рёдер отбивался киркой. Ее длинный клюв из чистого железа выпрыгнула мышь и шмыгнула назад, в овин, навстречу своей гибели. Совы на сене — крестьянину спасенье. Парочка сов уничтожит больше мышей, чем десять кошек. Уж лучше жить с совами, чем с волками. Затею с земляной печкой и с обогревателем для ног придется выкинуть из головы. А жаль. За фольварком лежит торф, самое малое несколько тонн. Но даже если сыпать в яму самый отборный уголь и подвести к ней воздухоудный канал и всю ночь поддерживать бездымный огонь, запах горящего торфа прогонит сов. Кто делает два шага вперед и один назад, тот далеко не уйдет. А на дорогу потратит вдвое больше времени. Как в системе блоков. Сила, помноженная на расстояние. Разум, помноженный на время. Времени у меня навалом, куда больше времени, чем силы и разума. Если я хочу выдержать, я должен помножить свою малую силу и малый разум на много-много времени. И если я хочу сблизиться со здешними людьми, я должен делать то же самое. Приучить к себе сов, сблизиться с людьми. Я хотел бы сказать ей, как меня зовут, я хотел бы узнать, как ее зовут. Пока только имя или, скажем, так: на первый случай имя. Один раз она мне привиделась, та женщина. Сегодня, когда я шел сюда. Правда, правда. Она шла мне навстречу. И тянула сани за перекинутую через плечо лямку. Я ее спрашиваю: какой ты груз везешь на санях? А она на меня смотрит, словно я сморозил бог весть какую глупость. Это мне так думалось по дороге сюда. И вдруг видение исчезло. Я видел только носки моих сапог. Левый, правый, левый, правый. И тогда я решил, что сапоги надо бы смазать. Не то они скоро развалятся прямо у меня на ногах. Когда одновременно думаешь о таких разных вещах, может лопнуть череп. Надо, чтобы все мысли сводились к чему-то одному. Они передрались, переругались, а потом в одну постель забрались. Это очень просто сводится к одному. И у меня с Марией тоже сводилось к одному. Поначалу. Недолго. Женщина такого долго не потерпит. Порой я спрашивал Марию: да что с тобой? Глупей вопроса и задать было нельзя. Не все в жизни незаменимо. С этой русской женщиной я мог бы кое-что обговорить. Дома, сказал

бы я, дома у меня есть домишко. Очень исправный. И все равно как мой собственный. Сдан мне сроком на девяносто девять лет. В Лигнице, в земельном суде, хранится договор. С садом, двумя моргенами пашни, ригой и хлевом. У мальчика была отдельная комната. Всюду электричество. Мы могли бы держать двух свиней. Одну — на мясо, другую — на продажу. А что до политики, так Мария тоже никогда не голосовала, как того хотели господа. И вдобавок после войны в Германии будет инфляция. При инфляции господа обычно меняются... Я отстрою себе в соломе такой закут. Такой спальный ящик. Из жердей. Либо из расколотых пополам досок. Чтобы доходило до потолка. Поставлю вертикальные стойки. Врытые в пол, закрепленные в потолке. Съёмная дверь. Защита от сов. Защита от собак. В овине лежит старый собачий помет. А вокруг овина много собачьих следов. По меньшей мере трех собак.

Этой ночью Рёдер разбил бивак среди развалин фольварка. На другой день он выстроил, как было задумано, спальный ящик. Временное решение проблемы, потому что морозы вскорости лопнут. Шел конец февраля, значит, самое страшное было уже позади. Перед тем как начать в развалинах фольварка поиск необходимых стройматериалов, Рёдер внимательно все оглядел. Отыскивая то, что понадобится в первую очередь, он мысленно представлял себе и то, что будет строить в дальнейшем.

Конюшню для племенного коневодства на двести двадцать стойл и два просторных стойла, где смогут жеребиться кобылы. Уповать и строить. Это тоже необходимо, если хочешь выдержать. Стройматериала в России навалом. Кругом полно всякой всячины. Не говоря уже об остатках военного снаряжения. У русских материала сколько хочешь. А почему? Да потому, что им за него не платить. Бригадир выписывает на бумажке, сколько ему может понадобиться, так, на глазок. И государство дает сколько может. Чего-то больше, чем надо, чего-то — меньше. Они хотят покончить с нуждой! И это хорошо. Но если заодно покончить и с предприимчивостью, куда снова постучится с черного входа. Тут наш лейтенант был прав. Когда мы еще были в наступлении, русским железнодорожникам поручили восстановить паровозное депо. У них было собственное начальство. И материала — сколько хочешь. Стальные балки, кирпич, жель, строительный песок, гравий, оконные рамы. Только цемент выдавали по наряду. И выдавали достаточно. А все ни с места. На каждую скобу, которую им надо было выдернуть, железнодорожники требовали разрешение с подписью и печатью. Галон. Вот у ветврача предприимчивость сохранилась. И связи, судя по всему, тоже. Поэтому он и может форсировать строительство и коневодство. Многое удастся снова пустить в дело. От двух жилых домов еще остались печные трубы. От старой конюшни — каменные фундаменты. Правда, большой сарай для утвари открыт с трех сторон. Зато кирпичная стена с наветренной стороны прекрасно сохранилась. Только взорваны опорные столбы и крыша провалилась внутрь вместе со всеми стропилами. Доски в полпальца толщиной, шпунты, бревна трехметровых длины. Из них можно сколотить отличный строительный вагончик, пригодный и для зимы. Чтоб не пропала зря ни одна щепка, ни один гвоздь. У большого ветряного колеса, которое рухнуло на землю, взорваны только нижние рычаги. Лопастей можно будет сделать снова. Рычаги восстановить. Укоротив на три четверти метра. И коленчатый вал соответственно. Для слесаря — пустячная работа. Насосная установка, которая входит в устройство, сыщется, вероятно, на складе у бабушки.

За первый же день пребывания на фольварке, до предела заполненный строительством спального ящика, Рёдеру удалось во всех деталях продумать годовой план своей деятельности. Он привлек время на свою сторону. Он предпочел бы, если б мог, сделать простейшие наброски и чертежи. Его втайне занимала мысль о том, что эти чертежи можно опустить в почтовый ящик, чтобы почта установленным путем доставила их женщине из каменного домика. Что одобрено разумной женщиной, то, считай, наполовину сделано. Женщина думает, я для нее совсем чужой. О, она еще удивится. Все свои надежды Рёдер возлагал на пятый день. Сразу после полудня он соберется в путь. Пусть не обязательно в этот раз, пусть в следующий, пусть через следующий, но когда-нибудь не бабушка, а она выдаст ему наполненный рюкзак.

Но на пятый день перед дверью каменного домика его хмуро, почти враждебно встретила и проводила бабка. Ту, что помоложе, и ее снышкуню он так и не увидел. Своим поведением бабка словно перечеркивала то, что было в прошлый раз. Когда он попросил у нее плотницкий молоток, она притворилась, будто не слышит. И жестами приказала убираться. И не велела снова явиться через пять дней. Рёдер покачал на руке наполненный рюкзак. Вес выделенного ему пайка значительно уменьшился. Он сдержанно поблагодарил. Бабушка пропустила мимо ушей горечь, прозвучавшую в его голосе. Полностью вернулся к ней слух, когда немец завел речь о санках. Если приколотить к саням ящик, на них можно будет за несколько ездки перевезти гору торфа. Большая часть торфяных брикетов, что лежали за фольварком, превратились в труху. Не задавая словами и руками встречных вопросов, старуха бросила в сани совковую лопату и канат-постромку с широкой кожаной петлей. Вид у нее был все такой же неприветливый, почти враждебный. Отойдя от домика на изрядное расстояние, человек оглянулся. Старуха все стояла у задней стены домика, запрятав руки в рукава своей куртки. Должно быть, смотрела ему вслед. Когда же он оглянулся, старуха тотчас нагнулась и сделала вид, будто поднимает что-то с земли, а может, там ничего и не было, и унесла это что-то в свой склад — а может, и ничего не унесла. Оставшуюся часть пути Рёдер усиленно разрабатывал, оправдывал и продумывал в деталях хоть и неблагодарный, но вполне справедливый замысел, а замысел был таков: взломать этот склад, чтобы обеспечить себя необходимым инструментом и материалом, коль скоро старуха не желает выдавать его добром.

Всего необходимей он считал сало, либо репное масло, либо керосин. Слабый огонек в бесконечные, непроглядные ночи.

Время, которое надлежало привлечь на свою сторону, чтобы выдержать, попеременно обращало к нему то дружеский, то враждебный лик. Время состояло из дня и ночи. Против враждебной ночи даже спальная клетка служила ненадежной защитой. Когда у мышей было хорошее настроение, они шмыгали между жердями клетки. А уж до чего у этого оголодавшего зверя в веселые минуты разыгрывался аппетит на мясо, на мочки его ушей к примеру, — слов нет. Чете сов он почтительно предоставил в полное распоряжение шест, прибитый к спальной клетке снаружи. Птицы не приняли его дар. Совы и вороны привыкли восседать на плече у богов — что им беглый и завшивевший конюх. Лохмотья, заменявшие Рёдеру белье, и все его волосы кишели вшами. Он кипятил свои лохмотья, он вылезал на скучное полуденное солнце и брал своих мучителей к ногтю. Но каждую ночь в его кожу въедались новые полчища вшей. Порой ему казалось, что еще минута — и он сойдет с ума от этого

МАРС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ ■ СОЛДАТ И ЖЕНЩИНА ■

мерзостного копошения на своем теле. Порой он начинал колотить себя кулаками, лишь бы не чесаться. Колотить не имело никакого смысла, но в расчесах вши множились, как комары в болоте. А на складе у старухи есть большой деревянный чан. Там можно бы принять сидячую ванну, очень горячую. И хорошенько вымыться ядровым мылом и керосином. А теперь, женщина, окати-ка меня ведром чистой воды.

Но страх прогнал женщину. Страх жить с немцем под одной крышей. Для местных это все равно что жить с какой-то нечистой. Будь у него возможность предложить серому псу, который из ночи в ночь совершает грабительские набеги на его овин, что-нибудь кроме мышей и добрых слов, пес мог бы стать ему верным другом. Лошадиного бога мыши не трогали, потому что у бога была собака. Парочка сов заменяет десять кошек. Хороший крысолов заменяет десять сов. А как ведет себя собака, которую хотят приручить одними добрыми словами? Она грызет прутья клетки и хочет добраться до тебя. Тебе нечем попотчевать ее кроме как топором. А это может дать собачью шкуру и собачий жир. Два отличных средства против ломоты в плечах и пояснице. На другую ночь Рёдер вынул из своей клеточки дверь. Но, увидев, что дверь в человечью клетку открыта, трусливый пес немедленно дал стрекача. За открытой дверью одиночка всегда чует засаду. Это только я думаю, что за открытой дверью меня кто-нибудь ждет. В тот раз, когда лошадь понесла, когда женщина встретила меня пулей, когда она прикладом затолкала меня под навес, дверь в ее дом была полуоткрыта. Случайно. Но за всей этой историей кроется не бессмысленная случайность. За ней кроется что-то другое. То, о чем я не рассказал лошадиному богу. Потому что не нашел еще подходящего слова. То, что можно почувствовать, а можно и не почувствовать. То, из-за чего рискуешь быть убитым на месте. Ведь она, эта женщина, поглядела не только на мои руки. Еще она заглянула мне в глаза. На одно мгновение.

Столько длится вспышка молнии. Или запахивается дверь под порывом ветра. Или говорят человеку: «Давай, заходи». А она убежала вместе с мальчиком. Поневоле спросишь: почему? Поневоле опустишь измерительный лот в темноту ночи. Но темнота эта не имеет дна. Чем больше ты вытравляешь бечевку, тем сильнее колебания лота в глубине. Там есть подземные течения. И сверху тебе с ними не совладать. Лот пляшет, как недавно плясал взбесившийся топор между плечом и поленом. И если даже теперь, когда все словно обезумели, у тебя не возникло желания подвести черту, ты должен додуматься до самого главного, до чего вообще человек может додуматься в своей жизни. Тогда ты должен понять, кто же ты такой. Иначе взбесившийся лот утащит тебя за собой в глубину. Тогда ты должен перевернуться с живота на спину. Махнуть рукой и на мышей, и на вшей, и на сов, и на пса, спокойно лежать до тех пор, пока не перестанешь испытывать боль. Пока земля — торфяная труха, на которой ты лежишь, не примет тебя, как кленовое семечко. С той же готовностью. И тогда ты наконец поймешь, кто же ты такой. Ведь не кленовое же ты семечко, на самом-то деле. У тебя в голове есть мысли. Только мысли эти слабые. И становятся все слабей, потому что ты не можешь облечь их в слова, спокойно и отчетливо. Произнеси же те три слова, которые сидят у тебя в голове. Произнеси спокойно и отчетливо свою присказку. *Когда станет светло. Когда станет светло.* Завтра, при свете дня, все будет ясно.

Еще четыре раза Рёдер прошел по маршруту: разрушенный фольварк — каменный домик в степи и обратно. Еще четыре раза — между суетой дневных дел и долгими, черными ночами, когда он лежал на земле словно кленовое семечко — с тяжелой головой и расползчен-

ным телом. По мере того как набирал силу дневной свет, Рёдер начинал верить в свою присказку. И одновременно не доверять ей, ибо, подыскивая слова, по значению противоположные выражению «не-лепый случай», он наткнулся на слово «провидение». О провидении неустанно тадычил фюрер. Но вера в провидение изрядно поколебалась, когда они сидели в котле. А когда он рыл могилу для своего мальчика, она и вовсе от него отлетела, хотя он не сразу об этом догадался.

Старуха с каждым разом все враждебней его принимала, все хуже слышала, все меньше говорила. Паек она выкладывала под навес — словно корм собаке. Она ни в грош не ставила его работу, его труды: вместительный устойчивый ящик, который он соорудил на крестьянских саях, фура торфа, которую он всякий раз привозил с собой. Возможно, она видела, как он день ото дня усыхает, как все глубже уходят его глаза в глазные впадины, как нос его малопомалу обращается в ястребиный клюв, как губы лишь с трудом прикрывают зубы. Возможно, она видела, как щетина бороды, пробиваясь между лишаями, постепенно укрывает все это. Возможно — но старуха закаменела. Теперь она не глядела ему вслед, когда он тащил прочь пустые сани, пробиваясь от одного снежного островка к другому. Из трубы больше не поднимался дымок. В домике погас огонь.

И вот он пятый раз возвращался к себе, в никем не охраняемый лагерь для военнопленных на одного человека, в свою самодельную клетку. На дворе был еще светлый день. Неподходящее время для излюбленной присказки. Плевать, подходящее или неподходящее. *Когда станет светло, женщина...* Произнеси это спокойно и отчетливо. Услышав и осознав собственные слова, он остановился. И переложил широкую кожаную петлю своих чудесных санок с одного плеча на другое.

В полуденные часы, занимаясь охотой на вшей, он мог наблюдать, как у него на глазах степная земля гигантскими струями пробивается сквозь снежную и ледяную кору. Звук падения каждой капли отдавался в его ушах как взрыв, разрушающий глыбу холода и тишины, которая тысячелетиями лежала между небом и землей. Он видел, как до полудня солнце пядь за пядью сбивало бороду инея, покрывавшего развалины стен. Слово гусеница из куколки, выползал он к полудню из своих оболочек. Снимал тяжелую шинель и китель, разматывал телефонный провод, придерживавший на его теле лохмотья и доскуты, которые он называл бельем. Местом его полуденного пребывания был аккуратно сложенный, разделенный поперечными брусками штабель досок — разобранная крыша сарая. Он бережно отделил от досок ломкий толь. Он хотел нарезать его на равные куски и использовать как дранку для своей хижинки. Сидя на штабеле досок босиком, в одной рубашке и штанах и наслаждаясь первым солнечным теплом, он мечтал о том, чтобы стонать домой и принести оттуда свои вещи. Шесть нижних сорочек грубой шерсти, две верхние сорочки, куртку, мягкие сапоги, жакет с рукавами, двое рабочих штанов и воскресный костюм. И еще он мечтал, как бы одолеть голод. Но голод был сильней и в два счета вытеснял мечты. Телу становилось теплей, и от этого оно еще более иступленно жаждало насыщения. К полудню дьявол голода особенно рьяно искушал его уничтожить пятидневный паек за один прием.

К полудню того дня, о котором предстоит поведать необычное, человек по привычке восседал на штабеле досок. И не сводил глаз с

■ СОЛДАТ И ЖЕНЩИНА ■ ШУЛЬЦ ■ ВАЙТЕР ■ МАКС

тропинки, протоптанной им до колодца. На тропинке возникло нечто совершенно новое, лужица размером с суповую тарелку. Должно быть, под ней земля уже совсем мягкая. Человек взмахнул руками и обхватил колени. Так он пытался заглушить желание соскочить с досок, броситься к этой луже, зачерпнуть ладонями жидкую грязь и глотать, глотать грязевую кашу. Желание не проходило. И тогда он дал себе несколько секунд времени, чтобы по крайней мере оправдать его. Пока в тебе еще теплится жизнь, голод может напасть на тебя как венерическая болезнь. И тебе ничего не остается, как пожрать дьявола, имя которому голод, пока он сам тебя не съел. Но если ты сник и сдался и лежишь, как тряпка, тогда ты позволяешь дьяволу голода вскочить на твой пустой живот, тогда ты пускаешь смерть в свой разинутый рот. И если человек склонился над миской земляной каши, но земли в ней было только на осадок, только чтобы облизать пальцы.

Человек снова вскарабкался на свой штабель. Упал животом на разостланную шинель. Забыл благое намерение никогда не ложиться ничком. Потому что в этом положении мысли оттягивают голову книзу. Голову и все, что к ней пристало. Во всяком случае, ему удалось повернуть голову, закрыть глаза и лечь на бок. Но заснуть он не мог, то ли потому, что стыдился своей слабости, то ли потому, что его пустой желудок все еще требовал земляной похлебки. Кровь бросилась ему в голову. Он услышал биение собственного сердца. Он услышал вполне отчетливо его резкие удары о резонансную доску. Потом сердце запрыгало галопом. В четыре копыта. Но даже если допустить, что сердце у него как у лошади, на четыре такта сердце все равно не барабанит. Он открыл глаза и увидел упряжку — лошадь и повозку — неподалеку от своего полуденного лежбища. Упряжка двигалась с севера, оттуда, где был холм, оттуда, где полагалось быть деревне, так и не увиденной за метелью, и держала курс на овин. Человек вскочил, замаха руками, закричал: «Эй! Сюда!» — как потерпевший кораблекрушение, которого на плоту носит по океану. Упряжка была уже довольно близко. Солнце не слепило. Оно стояло высоко над ним за его спиной. Поэтому он отчетливо видел все, что открывалось его взгляду. Видел в целом и в деталях. Лошадь и двух женщин в кибитке. Лошадь он мог бы даже окликнуть Обжора, Гляделка, Лошадушка. не мог вот он только назвать ее мало подходящим для лошади именем «Арестант».

Заслышав знакомый голос и знакомую кличку, лошадь непременно поставила бы уши торчком и помчалась бы к нему. Но даже и сейчас он не мог обидеть лошадь, даже и сейчас не мог крикнуть «Арестант». Слишком велика была его радость. К тому же он не знал, кто та женщина, которая стоя правит повозкой. Она была примерно на полголовы выше, чем женщина из домика. Она слышала его крик и на мгновение обратила к нему лицо. Оно показалось ему презрительным и злым. Другая женщина сидела в кибитке. Она стягивала руками концы платка под подбородком. Платок затенял ее лицо. Эта вторая женщина сидела неподвижно, скорчившись и оцепенев. Не была ли она женщиной из кирпичного домика? Не вернулась ли она назад, привезла лошадь? Выпросив ее у лошадиного бога? Для всей деревни, надо полагать. Чтобы остальные женщины не ворчали и заодно помогли ей прокормить пленного специалиста. Такая женщина обо всем подумает. А теперь она велела отвезти себя домой. В мою сторону и не глядит. Не хочет, чтоб о ней пошла сплетня, но хочет показать мне, что она вернулась. Если б не хотела, она бы выбрала другой путь из деревни к своему домику, либо покорооче, либо подлиннее. Этот день принесет мне удачу! Я чувствую, что принесет.

Упряжка исчезла за овином. При том темпе, к которому принуждала лошадь погонщица, они должны были тотчас появиться снова. Едва они скрылись, человек подбросил в воздух свою ушанку. И действительно, лошадь и кибитка почти немедля вылетели из-за овина, но только не по направлению к домику. Нет, погонщица направляла жеребца обратно к холму. И в кибитке больше никого не было. Сидевшая там раньше женщина не могла слезть за такое короткое время, она могла только выпрыгнуть. Попросила, чтобы ей разрешили сказать пленному хоть одно слово. Слово это человек представил себе именно таким, каким любой голодный мужчина представляет себе слово женщины: «Я принесла тебе поесть». Это понятно на любом языке.

Итак, человек торопливо ныряет в сапоги и в китель, как молодой прыгает со своего дощатого ложа, чтобы обменяться с женщиной словом, которое ее не испугает. Он идет быстро. Но не бежит. Он знает, женщина может испугаться, если он чересчур быстро подойдет к тому, что не есть ни случай, ни providение.

Та деревянная дверь, с помощью которой лошадиный бог уже единожды сбивал его с ног, давил и проверял его на выносливость, приготовила ему нынче еще одно горькое разочарование. Дверь легла на земле возле низкого входа в овин. А на двери, опустив голову и явно его поджидая, сидела незнакомая женщина. То ли молодая женщина, то ли девушка. Поди угадай. Не поднимая головы, незнакомка сказала мужчине, молча стоявшему перед ней:

— Меня зовут Тамара. Мне велено охранять тебя днем и ночью.

Незнакомка говорила по-немецки, но с таким старомодным выговором. Звуки, берущие за сердце. Когда мужчина не спеша подошел и молча остановился перед ней, она, как девушка, которую никто не приглашает на танцах, опустила глаза в землю. Но зато с берущей за сердце интонацией и без обиняков сказала, как ее зовут и в чем состоит ее задание. Взгляд она так и не подвела. Мужчина подумал, что она не делает этого лишь потому, что не хочет показать, какие черти прыгают у нее в глазах. Но от испытанного разочарования его недоверие все росло. Он не станет терпеливо ждать, что будет дальше. Здесь кое-кого хотят выставить дураком. Мужчине, немцу, фашисту здесь бросают приманку. Недурной наружности особу женского пола, круглосроточную охрану днем и ночью. Телохранительницу без ружья. В юбке, валенках, шерстяном платке, шерстяных чулках и с револьвером, засунутым за подвязку. Из-под юбки чуть видны красивые ноги, немецкая речь. А, черт подери! Сидит на сложенном одеяле. И пусть дурак думает что хочет. Рядом лежит узелок с бельем. Будто она только что с поезда. На коленях у нее плетеная корзинка. И все это так искусно укрыто скатеркой, что под ней сразу угадывается буханка хлеба. Будь у тебя катаракта, выжженные зрачки, будь ты вообще слеп, как сова, ты все равно увидел бы эту буханку в осязаемой близости. Продолговатое, коричневое, хрустящее чудо, килограмма на полтора по самым скромным подсчетам, манна небесная, крестьянский хлеб. Пусть дурень, от которого старуха прятала корзинку для хлеба, который с голодухи хлебает грязь, пусть он теперь исходит слюной от желания схватить ее за красивые ноги. Но тебе ничего не нужно, кроме хлеба, ничего больше, один кусок хлеба, полный рот хлеба. А она закричит, обзовет тебя паскудным кобелем и убежит с хлебом вместе. Убежит на своих, черт подери, красивых ногах. А где-нибудь за кустами небось притаилась та тощая и высокая. Она примчит к тебе на своей кибитке, огреет тебя хлыстом по губам, так что у тебя лопнут губы, как тогда у Плишке. Ох, лошадка, моя лошадка, как же нас с тобой обложили. Специалисту каюк. Вельмож-

ный барин изъявил желание возродить племенное коневодство. А сам что делает? Подбивает меня на всякое паскудство. Красивые ноги, немецкая речь, русский хлеб. Ах ты моя лошадка, моя обжора, единственная родная душа, сунь мне, как тогда, морду под шинель. Они хотят подвести меня под трибунал.

— Ты долго будешь меня разглядывать, как больную корову? — спросила незнакомая Тамара.

— Ты мне не нравишься, — ответил он, — но охрану себе не выбирают.

Тут она глянула на него, и он увидел, что лицо у нее все рябое от оспы.

— А почему я тебе не нравлюсь, шелудивый ты кобель?

— Ты мне кое-что напоминаешь.

— Что же именно?

— Колючую проволоку.

Ну, сейчас небу станет жарко, сейчас она вскочит и заверещит и с воплем унесется прочь. «Эта свинья, эта фашистская свинья! Он покусился на нашу честь!» Впрочем, что бы я ни сделал, конец был бы один и тот же. Уж лучше так, чем подлизываться и угождать. Тем более когда живот у тебя набит хлебом, наспех проглоченным хлебом, даже и в лагерь вернуться не так страшно. Здешним бабам явно не нравится, что к ним сюда затесался немец.

— Ну, давай, Тамара, зови своего кучера. А я возьму шинель и рюкзак.

— А нож у тебя есть, немец?

— А кто ты такая?

Молчание.

Нож у него есть. Он ныряет в голенище сапога, но ничего оттуда не вытаскивает. Новая ловушка? Он грозил меня убить? Нож — улика? Железное лезвие, которое у него есть, острое и колючее. Он сам наточил и отшлифовал его, сам сделал из дверной скобы, единственной, которая оставалась на этой двери. Теперь на двери сидит рябая девушка. Она моложе, чем можно было подумать с первого взгляда. Но из этого не следует, что она добрей, чем можно было подумать с первого взгляда. Впрочем, не все ли равно. Повалился кувшин по воду ходить, или, другими словами, нож по хлеб — там ему и голову сломить, или, другими словами: лезвие. Кому приходят в голову такие заковыристые мысли, тот, можно считать, еще держится.

— Зачем тебе нож?

— Как это зачем, папаша? Хлеб резать, вот зачем. Но если тебе не хочется хлеба, можешь отрезать кусок от своей ноги. Хотя, по мне, хлеб лучше. Его посылает Ольга Петровна.

— А кто это, Ольга Петровна?

— Это твоя приемная мать, папаша!

— Да будет тебе с мамашами и с папашами, черт побери.

— Тогда садись.

Мужчина послушно садится на другой конец двери. Рот у него наполняется слюной и руки начинают дрожать. Девушка расстилает на досках между ним и собой кусок небеленого полотна и начинает резать хлеб. Четыре толстых куска. Горбушку она прячет за спиной.

— Левая или правая?

Мужчина хватает один кусок.

— У тебя зубы лучше. — У этой молодухи такие же запавшие щеки, как у него. — Сколько тебе лет, Тамара?

Девушка покраснела, потому что поняла его любезность по-своему. Горбушка одного веса с обычным куском насыщает в полтора раза больше. Таков опыт голодных.

— Итак, я уже сказала: она твоя приемная мать. Хотя годков ей для этого не хватает. Между прочим, как оно там у вас было? Не Ольга ли Петровна хотела однажды ночью взвалить твое тело на санки? А санки увезти в степь? Чтобы собаки доделали остальное? Но получилось не совсем так. Она, наверно, подумала — если приглядеться к тебе, я ее понимаю, — подумала: нет, грех, нельзя подсовывать такое бедным собакам.

Вот и вернулась бумерангом «колючая проволока». Да еще с процентами. Язык у нее подвешен что надо. А считать свои весны она никому не позволяет.

— Ты мне в дочери годишься.

Никто не торопится продолжать разговор. Когда рот полон, разговаривать трудно.

— Вот было бы горе, — говорит она через некоторое время. Ему остается только проглотить сказанное. Она явно глотает проворней. — Еще Ольга Петровна привезла бумажку. С большой круглой печатью соответствующего учреждения. И там написано, что в порядке исключения немецкий военнопленный по имени Мартин Рёдер выделяется в распоряжение совхоза имени Калинина, деревня Александровка, для использования его как специалиста по восстановлению племенного коневодства. Поручителями выступают военврач Михалков и советская гражданка Кузнецова Ольга Петровна.

От этого приятного известия Рёдер сматывает засевший в горле комок. Выходит, ветеринар и женщина, которую зовут Ольга, жизнью своей или, по крайней мере, своей репутацией за него поручились. Еще девушка говорит, что по заведенному обычаю выпивку ставит мужчина. Кстати, и у него самого пересохло в горле. Он принесет воды из колодца, чистой, холодной воды. Быстро принесет. Сию же минуту будет обратно. Видишь, Обжора, мой приемный отец, уже становится светло, дело уже проясняется...

Когда Рёдер вернулся с котелком, полным воды, на том месте, где раньше сидела девушка, никого не было. Он услышал, как она смеется в овине. А снаружи, на дощатой двери, смеялись мыши. Длиннохвостый сброд с визгом играл в чехарду и дрался за хлебные крошки. А эта дура еще смеется. Оба толстых ломтя, которые у них оставались, когда Рёдер уходил — мысль о том, как это будет вкусно, если запивать их чистой, холодной водой, окрыляла его, — теперь безвозвратно исчезли. Корзинка с остатками хлеба была спасена, на праздничной скатерти ее не было, не было также и узелка с бельем и одеяла. От злости и разочарования он даже мысленно не поблагодарил девушку. Подхватила корзинку будто сумочку. Ни одна девица не выйдет на прогулку без сумочки. Заслуги в этом никакой нет.

Рёдер положил конец застолью, иначе сказать, он рывком поставил дверь вертикально и перекинул ее на другую сторону. Мышь рать заметалась, заскользила, обратилась в бегство. Кто не успел своевременно встать на все четыре лапки, тот угодил под пресс. А давление на пресс осуществляла голодный всем своим весом, вернее, недомесом, к которому прибавились ярость и гнев. Тамара перестала смеяться. С узелком и корзиной она стояла перед входом в овин. Она видела, как беснуется мужчина, но вмешиваться не стала. Она дала ему отбушевать. На это ушло много времени, слишком много, еще и потому, что перед входом в овин стояла девушка, с корзинкой и узелком, и потому, что в глазах у нее плясали веселые чертики.

— Погибли все, — заявила она, когда он наконец спрыгнул с двери. Его ярость отбушевала. Его мужское тщеславие продолжало бурлить. — Бросает хлеб перед дверью, хотя знает, что в доме никого нет.

— Я просто хотела осмотреть наше ложе. Нашу постель. Очень красивое сооружение.

Ей любо ходить по острiu ножа.

— Повтори, что ты сказала!

— Чего тут повторять? Я только думаю, что если кто боится мышей и пленных фашистов, а деться ему некуда, тот должен хочешь не хочешь подкармливать малюток, чтобы дружить с ними.

Вот и выглянула лошадиное копыто. Нечисть, разбойники, казни земные, немцы — все от фашистов.

— Пока ты ходил, вдруг появилась мышка. Потом еще одна, потом еще. Потом нагрянули целые мышинные полчища. И много до омерзения. И тут я испугалась. И пожертвовала мышам свой кусок хлеба. Свой, понимаешь! Бери! Это твой. Хлеб моих соотечественников. От себя оторвали. Ешь, а потом я буду плясать на тебе, как ты — на мышках.

Поди разберись в этих русских. Они разговаривают с тобой, как не по возрасту умные дети. Не встанешь на колени сам, они бросят тебя на обе лопатки. Как во французской борьбе.

— А если я предложу тебе половину моего куска?

— Смотря по тому, как ты это сделаешь.

— Дели сама, Тамара.

С этим предложением она согласилась. Она разломил кусок хлеба. Но всякий раз, когда кто-нибудь ломает хлеб руками, получают два неравных куска. И всякий раз, когда женщина ломает хлеб для себя и для мужчины, она отдает мужчине больший кусок. Так говорится в календаре для крестьян. Неписаном — на всех языках. Так случилось и на этот раз. Он поднял котелок с чистой колодезной водой и подал ей.

— Чтоб тебе достался хороший муж. Который умеет больше, чем ты знаешь.

Она не торопилась выпить. Она про себя обдумывала тост, не сводя с мужчины пытливового взгляда.

— Не возражаю, — промолвила она наконец. — Такому всегда рады.

Лишь чувствуя на себе ее пытливый взгляд, он сообразил, что его тост носил двусмысленный характер. Что его можно понять как намек на постельные дела. Стоит ли ему из-за этого краснеть? Нет, Редер, держись как ни в чем не бывало. Она ответила между прочим, не ломаясь. Она и вообще не ломака. Просто она хотела его смутить. А куда она сунула свое одеяло? Наше ложе! Наша постель. Как ты там все красиво устроил! Ведь не расстелила же она поверх свое одеяло. Впрочем, сейчас посмотрим. Мужчина встал и подошел к двери. Так небрежно, между прочим, что она невольно умолкла.

— Совы, — объяснил он, словно ему надо было их накормить. — Под этой крышей проживает парочка сов.

— Да ну? Совы — мудрые птицы. Дай им тоже что-нибудь. Моя бабушка по матери...

Он наклонился перед входом. Отломил несколько крох от своего ломтя. Немного — и небольших. Для жертвоприношения — маловато, для собственного употребления — в самый раз. И так, он святотатствовал во мраке свиного и мышинного храма. Ибо явился не затем, чтобы принести хлебную жертву. А затем, чтобы увидеть. И он увидел. Одеяло Тамары лежало на куче торфяной трухи — на его матрасе. Не расстелено, покамест сложено. Но тем не менее. Оно лежало. «В» или «на» постели, вот в чем дело.

Ох, барышня, барышня, нет ничего тайного... Деревенские бабы приносят в жертву девушку, чтобы потом с полным основанием спро-

вадить меня подальше. Надо открыть ей глаза. Ей кажется, будто она командует, а на самом деле командуют ею. Все равно никто ей не поверит, когда она скажет: дорогие сестры, фашист меня даже и пальцем не тронул. Она малость дерзкая, эта Тамара. Я знаю, девушка, в войну дерзость чаще всего сама себя карает. Я должен ей это сказать. Я просто обязан. Перед самим собой. И перед той женщиной, перед Ольгой. И перед лошадиным богом. И перед старшиной. Редер снова вышел под открытое небо. Он не знал, с чего начать, как сказать то, что он просто обязан сказать девушке, себе самому и другим людям. Это было совсем не легко. Потому что у Тамары замерзли ноги и она прыгала перед овином в своих валенках, как прыгают при беге в мешках.

И, не переставая прыгать, она продолжала прерванную историю о своей бабушке со стороны матери:

— Моя бабушка была из немцев Поволжья. Их всех переселили в Среднюю Азию. Они все очень суеверные. Моя бабушка каждую субботу выставляла на сеновал мисочку пшенной каши для злых духов. А в понедельник утром шла проверить, что с мисочкой. И мисочка неизменно оказывалась пустой. Кошка и котятки все воскресенье ходили с пшенной бородой. А бабушка целую неделю ничего не боялась. Даже быка Фридерика и того не боялась. Истинная правда.

Когда у нее на щеках румянец, она делается просто хорошенькая. А когда она снимает свой бахромчатый платок, который сбился, пока она тут скакала, она кажется моложе. Большинство женщин, если повяжут платком, выглядят старше.

— Меня, Тамара, ты можешь не бояться. Но было бы куда лучше, если бы ты вернулась в деревню до наступления ночи. Девушке или женщине из ваших нельзя оставаться ночью с немцем. Пойдет дурная слава. Так ли, иначе ли. Словом, уходи. Подумай о себе. Я никуда не денусь.

— Они и сами знают, что ты никуда не денешься. Они в этом почти уверены. Но именно поэтому я должна охранять тебя денно и нощно. Таково общее решение. Семнадцать голосов — за, один — против.

— Против, наверно, твой собственный?

— Я не имею права голоса. Больше не имею. В деревне снова восемнадцать женщин. Если считать Ольгу Петровну и ее свекровь. А со мной их было бы девятнадцать. Но Тамара у них не считается. Больше не считается. И ни одного старика, ни одного белобилетника, ни одного инвалида. Всего несколько мальчиков-подростков, а работать они должны, как взрослые мужчины. Единственный голос против — это Ольга Петровна.

Тяни, отец, тяни. Еще будет свет. Женщина, эта самая Ольга, не хочет меня уступать. Она не отрекается от того, что произошло. Поэтому что то был не случай. И не провидение. И не каприз. У-у, какой тонкий нюх у женщин в этой деревне. Они знают — как это выразилась Тамара? — они почти уверены. Так говорят, когда еще только предполагают. Скверная повадка у всех женщин, они любят с уверенностью высказывать свои предположения. А ведь все проще простого, дорогие мои женщины. Ольга хотела получить лошадь. Лошадь была ей необходима. Старшина не мог не отказать ей. Отказать тоже было необходимо. Тогда Ольга загнала в сарай немецкого военнопленного. Тот был согласен. И тут-то все и начинается: женщина была согласна с тем, что мужчина согласен. И больше ничего, понимаете, люди: ничего не было. А вы-то небось думаете, что по нынешним временам и этого много. Но ведь мерки всегда одни и те же — человеческие.

— Уходи, Тамара! Иди домой! Оставь мне только еще кусок хлеба.

— До чего ж ты тупой! Ты даже не замечаешь, как переоцениваешь себя и оскорбляешь меня. Я могу придержать свое сокровище. Если хочу. Я не обязана растратить его с тобой. Если не хочу. А кроме того, решение есть решение.

— Тогда я тебе вот что скажу: по ночам здесь просто ад. Ты еще наплачешься.

— Ольга сказала, чтобы я терпела тебя, как терпишь попугайчика в поезде. Когда спишь в одном купе с посторонними мужчинами. Разговариваешь с ними, может быть, вместе ешь. Они тебе симпатичны либо не симпатичны. Будто едешь в командировку. Это сказала Ольга.

Редер зашел в овин и вынес оттуда Тамарино одеяло.

— Теперь мне пора на работу. Пойдем со мной. А одеяло там оставлять нельзя. Не то к ночи из него получится кружево.

Девушка не взяла у него одеяло, передала ему вдобавок свою корзину. Себе оставила только узелок с бельем.

— Инспекторский обход, — сказала она и добавила, что ей хочется посмотреть, много ли он наработал за четыре недели. Сколько выработал трудодней. Каждому по труду. Его замыслы привели ее в восторг. Однако при виде реально сделанного, при виде поддающегося обозрению и учету штабеля трехметровых досок она сморщила нос. Если пересчитать на хлеб, по теперешним ценам, триста граммов в день. От силы. Про себя он обозвал ее несмышленной зазнайкой, которая не имеет ни малейшего представления о том, чего это стоит — разобрать крышу большого амбара по всем правилам и притом без молотка, без кувалды, без клещей и тисков, чтоб вытаскивать гвозди. Только один топорик да лопата с обломанной ручкой. Но вслух он сказал то, что не раз слышал дома от фабричных рабочих либо от Марии:

— От сдельщины раньше сроку помрешь.

Эту тему Тамара не подхватила. Здесь она решала, о чем говорить, а о чем нет. По дороге он спросил ее, почему она у себя в деревне лишена голоса. Она вроде совершеннолетняя и, сколько он мог заметить, не из глупых. Но она и тут промолчала и только прибавила шаг. Должно быть, это как-то связано с ее бабушкой из немцев Поволжья. Боженку русские выпроводили через парадную дверь, а черт тем временем прокрался через черный вход. И в настоящее время черт изъясняется по-немецки. Не беда, если у кого-нибудь в этой стране есть кой-какие грешки на совести. Но горе тому, у кого бабушка — немка. Как у этой девчонки. Вон она вышагивает что твой управляющий именем. Русским именем. Я должен работать? А я разве не работаю? И не пяль на меня свои зеленые глаза. От такого взгляда молодко скиснет. Перейдем лучше к стропилам. Может, ты, госпожа комендантша, научишь меня, как с негодным инструментом, не потеряв ни единой щепочки, разобрать твердые девятиметровые стропила, крепление жесткое, болты двойные. Ни единой щепочки! Эти стропила нужны нам как опорные столбы, как коньковые брусья для строительного вагончика, для отопляемой сторожки. Шесть метров на три. Древесные отходы равны нулю. Используем сохранившиеся трубы и лишь наполовину рухнувшую печь. Да тут одна идея стоит трехсот граммов. Теперь, комендантша, ты видишь, с кем имеешь дело? Ты имеешь дело со всем немецким трудовым фронтом, с работником умственного и физического труда в одном лице. Что вы изволили сказать? Что доски нужны в деревне? Роскошно. Тогда мы и впредь будем

жить в мышином тереме, барышня и ее дурачок. Будем жить, сплелем из грязи и мышиных хвостов венки для непорочной невесты.

После сообщения, что все доски пойдут в деревню, мужчина не проронил больше ни слова. А она перешла на русский, исключительно на русский. Задачу, как разъединить стропила, не наделав при этом щепок, она взялась разрешить с помощью пилы. Везде, где дерево стыковалось с деревом, полагалось пилить. Он держал за свою ручку, она — за свою. Причем нельзя было сказать, что она работает вполсилы. Нет, она работала как следует. Просто надолго ее не хватало. Работать надо спокойно и ритмично — вжик-вжик, а не пороссячим галопом. Когда пошел третий час работы в предложенном ею темпе, а ее движения оставались такими же энергичными, и насчет перерыва она даже не заговаривала, и вообще с ним больше не заговаривала, ни по-русски, ни по-немецки, он вдруг сообразил, что опилки — это тоже своего рода щепки, а сообразив, про себя порадовался. Впрочем, выкладывать свой козырь он не стал, он его приберет. Лишь когда она скамандует «на сегодня хватит», как это звучит на русском языке, он выложит свой козырь. Он хлопнет ладонью по дереву, укажет пальцем вниз и скажет: «Между прочим, тоже щепки». Эта мысль прибавляла ему сил. К концу третьего часа он почувствовал, что ее движения становятся все слабей. Увидел, как она прикусила губу. Пожалел ее. Но коль скоро мужчина надумал связаться с женщиной — пусть даже не сам он, а за него надумали, — он должен уточнить с самого начала, кто у них будет головой. Не то в недалеком будущем быть ему в дураках. К концу четвертого часа, когда бледно-красное солнце висело над степью на высоте дерева и по небу разлилась предвечерняя игра красок, она сказала по-русски: «Конец». Пришел его великий час:

— Ну-ну, а что это у нас здесь такое?

— Щепки! Древесные щепки.

— Древесные опилки! — устало ответила она по-немецки. Козырь все-таки произвел впечатление. Во-первых, она опять сказала словечко по-немецки, во-вторых, она занялась ужином. Сходила по воду, развела костерок, принялась варить кашу из каких-то зерен, принесенных в корзинке. Так и должно быть. Мужчина еще некоторое время работает, прибирает рабочее место, готовит лучину, приносит ведро торфа, затем моет лицо и руки. Пока он успевает все это сделать, уже готов ужин. В мирное время перед этим надо еще задать корм скоту. Женщина доит коз. Женщина. Впрочем, эта девушка — свой парень. Вон достала что-то из корзинки. А я ей показал, где лежит остаток моей картошки и крупа. В печи, которую я, дайте срок, окружу засыпной сторожкой. Шесть метров на три. Впрочем, об этом мы еще поговорим. В настоящий момент комендантура созрела для переговоров.

Настроившись на отдых после трудов праведных, вернулся умытый мужчина. Он здорово себя надраил. И пришел голый по пояс. Девушка сидела на штабеле досок и черпала из его котелка. Черпала и черпала, а потом выскребла остатки.

— Из опилок, — сообщила девушка, — можно жарить первоклассные омлеты.

На досках сидела девушка, стояла корзинка с хлебом, лежало золотое вечернее солнце. Рядом с мужчиной стояло жестяное ведро. Полное колодезной воды. Чистой и холодной. От костра поднимался голубой дымок. Ну ладно же, как аукнется, так и откликнется. Он подхватил полное ведро за скрипучую ручку, решительным шагом направился к хитроумному, хранящему жар, вырытому в земле очагу. Размахнулся и вылил воду, замочив при этом худые сапоги. Вылила

всю, как есть, в красноватые уголья очага. Шипя от злости, пара и газа, вырвались из костра и устремились к цветущему вечернему небу духи мести. Обволокли, задушили молодую ведьму, которая сидит на подготовленном костре. Так ей и надо! Пусть кашляет. Жена да убойтся мужа своего.

Подползли сумерки. Огонь погас. Голод выжигал внутренности мужчины. Он сидел на опрокинутом ведре, накиннув шинель на плечи и повернувшись спиной к мертвому очагу и к проявлениям жизни на штабеле досок. На барабан свой сел герой, обдумывая бой. Шатер небес над головой затянут тьмой ночной. Фридрих, великий король после битвы под Лейтенмом. Большие потери. Но сражение выиграно. Что выучено, то выучено. То не забыто по сей день. Бык в усадьбе ее бабушки по матери тоже назывался Фридрих. А бабушка целую неделю ни капельки не боялась быка. Ей придавала храбрости дочиста вылизанная мисочка на сеновале. Яблочко от яблони недалеко падает. Очаровательной внучке тоже придает храбрости вылизанный котелок. А теперь она ушла. Несколько минут назад. К колодезю. Помыть посуду. Корзинку с хлебом она оставила. Да разве можно быть такой коварной? Что удержит тебя от кражи, когда ты подыхаешь с голоду? Характер, характер тебя удержит. И еще волшебная палочка. Самокрутка. Из чая. Пять спичек подарила мне женщина. Три еще осталось. Женщина, Ольга значит. И женщина снова разожжет огонь. Завтра я встану пораньше. Я должен встать раньше, чем она. Спать я буду снаружи. Останусь здесь. Приготовлю постель. Даже с крышей над головой. Доброй вам ночи, мадам.

Девушка вернулась. Мужчина сидел в той же позе, в какой она его оставила. Курил. Не мог подавить кашель. Табак ни к черту. Холодные времена. Безоблачное небо. Мерцание звезд. Мороз упал на степь. Дрозд смеется, умирая. Она ставит котелок в их чулан. И корзинку с хлебом. Все как положено. Она говорит:

— С полуночи считаются новые сутки.— Это она намекает на хлеб. Это она хочет сказать: если тебя замучит голод, встань и подойди к холодной печке. В ней ты найдешь клад: триста граммов незаработанного хлеба.— Семья моей бабушки по матери носила красивую немецкую фамилию Ваккер. Работящие люди. Строй усердно свой дом, и тебе поможет бог. Мать моя удалась не в них. Она вышла замуж за Игнатьева. У Игнатьева в голове были одни только идеи. Интернационализм, деревенская коммуна, колхоз и тому подобное. И ради своих идей он не щадил себя. Как и моя мать. О них даже было в газетах. С фотографиями. А твои родители кто были?

Тишком да крадком — официальная часть. Анкетная. Эту стадию, почтеннейшая, я уже прошел. Еще до того, как попасть в команду. Со мной можно по-честному. Он не поворачивает головы, герой на барабане. Он говорит хриплым голосом бывшего вояки:

— А мои были барон и баронесса. Ходили в шелку и в золоте.

Тут девушка вздохнула: «Ах звезды-огонечки». Рехнулась она, что ли.

Ее звонкий командирский голосок доносился сверху. Наверно, она забралась на доски. Господи боже, этого еще не хватало. Она декламирует стихи. Пущено в ход последнее оружие, оружие искусства. Умереть можно со смеху!

Шептала девушка в тиши:
«Ах звезды-огонечки».
И прямо с неба их достал
Любимый среди ночи.

Проходят годы чередой.
Ах звезды-огоньки!
Порой приблизятся они,
Порой так далеки.

Публика, состоявшая из одного человека, продолжала демонстративно сидеть спиной к сцене. И слушала, опустив голову. Вообще-то ей хотелось разразиться хохотом. Мороз упал на степь. Дрозд умирает. Он слышал, как ходит со сцены искусственное искусство. Как прыгает девушка. Тут он превозмог себя. Себя и полковой барабан. Он встал, потянулся, обратился к специалистке по звездам невозмутимое, заросшее щетиной лицо с кислокапустным выражением. Волшебная сила поэзии.

— Вечерняя зоря,— сказала поэзия.
Он отвесил ей поклон, который перенял у старого барона.

— Доброй ночи, мадам.

Он сумел сказать это с полной невозмутимостью и потому увидел, что церемонное прощание ее смутило. Она сразу поняла: спать они будут поврозь. Лучшее место — даме. Она — в аду, он — на холоде.

— А мыши? — пролепетала она робко, едва слышно.

Реванш, полный реванш. Благодаря мышам. Кто бы мог подумать. Вот она стоит опустив глаза. Глупая девственница. Пожертвовала хвостатым духам толстый кусок свежего ржаного хлеба. Двести граммов. Не количество, дитя мое, не количество, а вера определяет ценность жертвы. Вера приносит блаженство, хлеб приносит сытость. Щепки, опилки, подложишь шафрана — пирог без изъяна.

— Я тебя отведу. Получишь от меня еще одеяло. С одним одеялом — там верная смерть.

— Ты, выходит, собираешься спать в такой холод под открытым небом?

Свободная вариация на тему: замерзший немец — хороший немец.

— Черт подери! У нас в деревне нет госпиталя. Если ты обморозишься, тебя придется отвезти в лагерный госпиталь. А дорога неблизкая. Даже если ты попадешь туда живым, людей заинтересуют твои бумажки. Редкая к нам птица залетела, скажут они. Редкие птицы всегда выглядят подозрительно. Впрочем, как пожелаешь. Желание для человека порой дороже царствия небесного.

Мужчина молчит. Проходит немало времени, пока внутреннее недоверие выразит себя в молчании. Проходит еще больше времени, пока наконец отшумит глупость. И, наконец, проходит совсем много времени, порой вся жизнь, когда подает голос вера:

— Подожди, подожди минуточку, Тамара.

В спальном клетке девушка подложила себе под голову узелок с бельем. Взбила его словно пуховую подушку. Замоталась в два одеяла. Развернулась снова. Потребовала, чтобы он дал ей нож — дверную скобу, длинную, отточенную, заостренную. Он был слишком утомлен голодом, слишком освещен доверием, чтобы еще раз проявлять недоверие. Он не видел, как она воткнула нож между ним и собой в торфяную труху, а хоть бы и видел, ведь не может он лежать так неподвижно, чтобы даже ненароком не задеть символ пограничного столба. При самых светлых, дневных мыслях и то не может. Потрескивали стены их пещеры, били и хлопали совиные крылья, огненно-желтые глаза вспыхивали то здесь, то там. Девушка не двигалась. Он ловил ее дыхание. Порой она тихо вскрикивала. Может, во сне, а может, в бессонном страхе. Когда его начали терзать вши, стыд терзал еще

■ СОЛДАТ И ЖЕНЩИНА ■
■ МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ ■

сильнее. Твари-бродяги, ползают с места на место. Они не признают пограничных столбов. Сон глумился над ним. Приходил, чтобы тотчас снова уйти. Во сне проплывали тени. Мария стояла наверху перед входом в земляной погреб. Сложив руки под передником. Когда Мария была в положении, она частенько так стояла посреди двора. Полчаса могла простоять. Была осень. Плыли к земле листья с липы. Плынут по пещере ночные совы. Ты бы сходила к Ольге, Мария, ты бы поговорила с ней... В эту ночь не произошло ничего нового. Все было как уже не раз бывало в эти пещерные ночи. Только чуть теплее с одного боку. Да еще снова пришла Мария. А ведь она долго не приходила.

И все же в эту ночь человек не мог утешаться своей дневной присказкой. На него разом навалилась головная боль и озноб. Он препирался с самим собой. Это кто там вякал днем: от сдельщины раньше сроку помрешь? И кто потом, когда начали пилить, поощрял дикую гонку? Да он же и поощрял. Куражился из чистого гонора. Кто хочет выдерживать, тот обязан знать себе цену. Кто бахвалится: сейчас мы как вдарим, тот должен, замахиваясь молотом, не угодить по собственной голове. Если ты вспотел, надо для начала остыть. Но едва поблизости возникает юбка, ты мчишься как дурак к корыту, и сбрасываешь китель, и снимаешь рубашку, и льешь на себя ледяную воду, и отряхиваешься, как длинношерстная такса. Такой крепкий, такой настоящий мужчина, такая широкая грудь! И даже без полотенца — в эдакий-то холод! Только не проронить ни словечка! Только не спросить: у тебя, Тамара, случайно нет полотенца? Я потом его отстираю. Тамара работающая девушка. И опрятная. В ее узелке наверняка сыщется и полотенце. А на твои красоты она даже и не взглянула ни одного раза. Зато вот теперь ты дрожишь, как осиновый листочек. А работать кто за тебя будет? Мне надо бы выйти. Ну поднимайся! Поставь воду на огонь. Вскипяти себе чаю. Завари вересковый корень. У него, правда, вкус, как у камфоры, но помогает. Да еще бы горячую ножную ванну. Мария снова вернулась. Эта женщина, Ольга, говорит совершенно как Мария. С первым проблеском дня Редер встал, стараясь не разбудить девушку, осторожно укрыл ее ноги своим одеялом и тихонько вышел. Идя по твердой, заиндевевшей траве, он вспоминал утреннюю росу на летних лугах.

Девушка обнаружила его у очага. На свежесколоченной скамье. Он спал. В котелке выкипал чай. Она легко коснулась его плеча. Он подскочил спросонок и спросил, который час.

— Триста граммов, — ответила девушка.

На лбу у него выступили крупные капли холодного пота. Он нарезал свой хлеб на маленькие кубики. Вытачивая себе нож из дверной скобы, он оставил на нем петлю. А загнутый конец заменил ему рукоятку. Тамара сказала, что, если сточить петлю примерно до середины изгиба и сделать узкую, длинную зарубку под прямым углом к петле, нож можно будет использовать для вытаскивания гвоздей.

Идея вызвала у него одобрительное удивление. Девушка, а до того додумалась.

Встречный вопрос о том, где прикажете взять тиски, хотя бы ручные, свидетельствовал, что с его стороны идея запатентована. Когда соберутся вместе два изобретательных ума, получается нечто вроде чехарды на двоих. То ты прыгаешь, то через тебя прыгают. Они пригнали доску, положили ее на новую скамейку, засунули лезвие между доской и сиденьем. Она настояла на том, чтобы тот, кто меньше весит, работал напильником, а тот, кто больше, сидел на доске. Стало быть, вот откуда дул ветер! Вся замечательная идея сводилась к тому, чтобы мне, по крайней мере с утра, не надрываться.

Эта хрупкая девушка обвела его вокруг пальца. Но поскольку он прескверно себя чувствовал, ноги были как ватные и все тело покрыто холодным потом, он охотно заглотив приманку и взял на себя роль мастера-наставника.

Осторожненько, вверх-вниз, напильник прижимать подушечкой большого пальца. А что стало с твоим отцом? И с твоей матерью? Таких историй мне слышать не доводилось. У нас был Эрвин Сакс, единственный коммунист в имении, так он рассказывал не такие истории о советских порядках. В его историях крестьянам живется хорошо. Все дружно, рука об руку. Гигантские нивы, гигантские пастбища. Утром с гармошкой на работу. Сплошная механизация. Тамара говорит, что ее отец был здесь первым председателем колхоза. Что он был высокий, широкоплечий человек, добрый и с прекрасным голосом. Только петь ему не много пришлось. В тридцатом году его выдвинули делегатом на партсъезд. Он поехал в столицу вместе с одним из секретарей краевого комитета. Но до железнодорожной станции — три дня пути на лошадах — они так и не добрались. Были убиты по дороге. Обоим перерезали горло. Косой. Тамаре было тогда семь лет. В председатели начали прочить Тамарину мать. Она не хотела. Ее избрали. Потом она вошла во вкус. Скотоводство. Крупный рогатый скот, овцы. Кормовая база! Турнепс, картофель, клевер! Зерновые, следовательно, тоже. В каждом хозяйстве своя корова! Колхоз должен богатеть. По-моему, очень разумно. Но для личного хозяйства лучше всего обычная буренка, а не раскормленная рекордистка. Во всяком случае, тетя Марфа, папина сестра, и еще некоторые другие были не согласны с мамой. Это как так богатеть?! Капиталистические замашки! Нет, они желали выращивать масличные культуры, коноплю, джут! Господи боже мой! Джут растет в Индии! И у китайцев! Сперва сделать богатой всю родину и лишь потом думать про отдельный колхоз. А разница между себестоимостью и закупочной ценой роли не играет. Главное — накапливать передовой опыт. Передовой опыт не просто дорог, он драгоценен. Вот Ольга, та поддерживала маму. Потому что Ольгин муж отвечал за овцеводство в районе. И сама Ольга работала в овчарне на фольварке. А муж тети Марфы был в деревне партийным начальством. Он хотел найти средний путь. Потому что страсти разгорелись нешуточные. Как раз в то время, когда мамина звезда начала близиться к закату, Ольгин муж выстроил себе посреди степи каменный дом. Собирался впоследствии поставить рядом овчарню. Ввести электрострижку. Ольга сказала: мы освободим место на фольварке. Мы не против новшеств. Но баранина и шерсть государству тоже нужны. Маму сместили. Она процарствовала неполных три года. Потом переехала с дочкой на фольварк. В бывший дом Ольги. От которого и по сей день стоит труба. И полуразвалившаяся печь. Все это будет потом восстановлено. Шесть метров на три. Спустя четыре года мама умерла. От горя и от воспаления легких. Тамаре было тогда четырнадцать. Ольга взяла бы девочку к себе, но тетя Марфа отправила ее учиться. На правах опекунии. В сельхозтехникум. Мальчик у нас тоже был не из глупых. И мы бы тоже куда как рады послать его в техникум. Будь у нас деньги. Это здесь обучение бесплатное. Что есть, то есть. Тетя Марфа была права... А кто ж это у нас легок на помине?..

Тетя Марфа явилась с лошадей и с телегой. Незадолго до полудня. И девушка отправила Редера с пилой к стропилам. Должно быть, хотела поговорить с глазу на глаз со своей теткой, с той самой высокой и худой женщиной, которая вчера доставила Тамару сюда. Редер увидел, что женщина эта вовсе не так уж и стара, хотя волосы у нее совсем седые. У штабеля досок она придержала лошадь. Жеребеч

солومه. Бидон из-под керосина и вставленные один в другой снарядные картузы заменят печь и трубу. В углу, над детьми, на дощечке, воткнутой прямо в паз между бревнами, горит свеча. До чего ж ты богата, женщина. Трое детей, огонь в печи, тепло, свет, крыша, корова, а из моих досок будет вам пол и закут. Стало быть, комната, чулан, кухня, хлев. А ну, пустите меня поближе к детям. Прыг-скок, покидай уголок. Я не волк, а ты, мать, ты не старая коза. Не разевай рот, когда плачешь. Все на выгрузку! Когда настелю пол, извольте его натереть, а когда натрете — но не раньше, — можете обернуться. Перед вами будет трехэтажная кровать, снизу — для матери, в середине — для младших, наверху — для старшей сестры. Ну, чего хнычете? Это я просто говорю с вами по-немецки. Вы поглядите, в моих карманах лежат гвозди со шляпками. Если б вы только знали, чего они мне стоили! Тамара даже подсчитать не могла. А ведь Тамара — инженер.

Возможно, дети поняли слова «Тамара» и «инженер». Они начали таскать доски и брусья. Женщины, те уже давно занимались разгрузкой. Корова гаращилась, чуть склонив голову набок. Мужчина поправил ушанку и начал работать как одержимый. Никто ему не объяснял, что надо делать. Седая Марфа уехала. Женщина и три девочки подсобляли, чем могли. Когда во время работы шапка съезжала ему на глаза, девочки прыскали. Само собой, мамаша, вокруг печки мы оставим свободное место. Страхкасса ничего не платит, если крестьянин сам виноват в пожаре. Ты хочешь подкинуть дров и поставить чайник? Подожди, я освобожу место. Эрвин Сакс был, наверно, прав, когда говорил, что русские любят работать сообща.

К ночи Редер выполнил свое задание и добровольно взятые на себя обязательства. В старом сарае появился кусок пола размерами для нормальной комнаты. И хотя пол был настилан без ватерпаса, выглядел он хоть куда. А в углу стояла трехэтажная кровать, и девочки выстилали ее сеном и детским визгом. Женщина пригласила его к столу. Столом и шкафом у них служил сундук, принадлежавший раньше немецкому офицеру. На сундуке стояло: «Капитан Кётч». И сверх того стояла миска каши с молоком. А вокруг стола — вращающиеся кресла, из толстого чурбака каждое. Женщина предложила ему скамеечку для дойки. А сама она будет есть потом. Потому что у нее всего четыре ложки. Потому что в миску очень мало налито. Там, где поселился голод, за столом всегда не хватает места для кого-нибудь. Когда миска наполовину опустела, человек встал из-за стола. Женщина поила корову. Он передал ей свою ложку. Она ополоснула ее в коровьем ведре. Давай я напою. Иди ешь. Женщина пошла и с тремя девочками дочистила миску. И еще раз в этот вечер Редер невольно вспомнил слова Эрвина Сакса. Жив ли он? Его жена была на похоронах Марии. Пришла в черном платье. Впрочем, на похороны все женщины ходят в черном. Незнание порою тяжелее всего.

Девочки резвились. Они кувыркались на барьере. Для целого закута досок не хватало. Но женщина и не хотела, чтоб был целый закут. Не то в комнате стало бы слишком темно. И корова чувствовала бы себя слишком одиноко. А из-за этого нервная корова сразу снижает удои. Пришлось ограничиться барьером. Поперечная доска, три четверти метра над землей. Узкий вход — для людей. Смотри только, женщина, чтобы коровий зад не оказался над барьером, чтоб дерьмо не падало в чистую горницу. Женщина засмеялась. Ей-богу, засмеялась. Слово «дерьмо» понимают все люди.

Женщина положила шинель на доски. Можешь спать здесь. Он этого ожидал. Снова провести ночь под нормальной крышей, возле теплой печки! Снова разуться на ночь. Помыть ноги перед тем, как

лечь. После полуночи, когда станет холодно, встать, подбросить в топку несколько полешек. И снова лечь.

Пока он мыл ноги, появилась седая Марфа. Все осмотрела. Выразила удовлетворение. Подивилась на трехэтажную кровать. Порадовалась вместе с детьми, которые уже все лежали на своих местах. Еще раз все осмотрела. Поняла смысл разостланной на досках шинели. Подняла шинель, бросила ее Редеру прямо под вымытые ноги. И мать девочек не заступилась за него ни единым словом. Мир полон черной неблагодарности. Мой топор, моя пила. Прощайте! Бестия уходит. Все-таки мой путь самый длинный. Ах, звезды-огоньки... Порой приближаются они, порой так далеки. Дорога от деревни до фольварка шла напрямик через холм, незаметную высотку, где в свое время солдаты... где сын Редера ушел в никуда. Самый длинный путь Редера тоже вел в никуда. Ночь была темная. Сырой холодный воздух встретил его и легкий туман. Даже русская зима рано или поздно начинает истекать слезами. На холме пляшет блуждающий огонек. Цель ясна! Огонь! Когда он попадала в дорожные колеи, под его ногой хрустел тонкий ледок. Счастье будто стекло: раз — и вдребезги.

Тогда, в метель, с дороги ничего нельзя было разглядеть. Сегодня, идя в деревню за груженной досками фурой, он ворчал: плетешься, как за гробом. Когда они только ехали туда. Теперь, подойдя вплотную к холму, он вспомнил свою кощунственную воркотню и испугался. Да как же можно, потеряв несколько досок, забыть из-за этого про единственного сына? Испуг пронзил его, когда он искал то самое место. Оно должно быть где-то у подножья холма, на той стороне, что дальше от деревни. Он вовсе не рассчитывал найти его у самой дороги. На подходе к холму ему чудилось, будто он ищет свою команду и в своих поисках уходит от этого места все дальше и дальше. И вдруг он снова ощутил кожей ледяное прикосновение пистолета. И увидел: могила была в полном порядке. Ровный четырехугольник, обложенный мерзлыми комьями земли. Отмеченный в головах прямым березовым суком. Засохшее дерево, где вместо кроны — немецкая стальная каска. Каска висела косо, открывая свое нутро. Ему очень хотелось перевесить каску прямо, но Марфа безо всякого внимания прошагала мимо, и страх перед этой женщиной удержал его. Даже не страх, а просто ее присутствие.

Вниз с холма идти тяжелей. Слабое перемигивание звезд уходит выше в мировое пространство, черные тени на земле спускаются. Человек угодил в водоворот. То место, словно водоворот, утягивало его на дно. И он остановился перед ним, обнажив голову. В руках — шапка, у ног — могила сына. Для нас, сынок, не сыщешь здесь ни единого цветочка. В этих хатах вымерла вся зелень. У нашей мамы что-нибудь всю зиму зеленело на подоконнике. Алоэ, герань, фикус. Плющ в подвешенном к оконному переплету горшке. Здесь нет окон, нет подоконников, нет места для зимних цветов. А даже где есть окна, все равно не хватает тепла. Люди и сами застыли в этой стуже. Придет весна, настанет лето, для нас лишь горе расцветет. Потому как в деревне было принято соответствующее решение. И единственный голос, поданный против, должен будет подчиниться общему решению. Дрозд смеется, умирая. Когда настанут холода. Давай держаться вместе, мой мальчик. Сорок лет — это в наше время более чем достаточно. Эвакуацией ведает сам господь бог.

Вот в облике дежурного офицера шагает он из казармы в казарму и покрикивает на людей: «Эй вы, сони, засони, вставайте». Только и есть у него радости. Для нашего брата больше ничего не припасено. И это нам уже давным-давно знакомо. Можешь не принуждать себя, боже милосердный. Подособи мне самую малость. Нож торчит у меня

в голенище. Подтолкни меня на этом заветном месте. Тогда я и сам упаду ничком. Когда Радуна Франц закололся, потому что его двор пошел с молотка. Он накануне напился в трактире и запел:

За голенищем нож живет,
И, всем на удивление,
Он просит пить, так пусть попьет.
Окончим представление.

Пел, а сам поглядывал на закопченные балки потолка. Когда Редер, как и положено человеку, принявшему такое решение, поднял взгляд к вершинам, от которых не ждал больше помощи, в глаза ему снова бросился блуждающий огонек на малой высотке. Теперь Редер смог дольше задержать на нем взгляд и понял, что огонек движется в определенном направлении, вниз по склону холма, к проезжей дороге.

Блуждающие огоньки и блуждающие духи обычно избегают проезжих дорог. Значит, навстречу тебе идет кто-то живой. Гляди в оба, замыкающий! Кто-то размахивает фонарем! Павшие постеснялись бы размахивать фонарем, вздумай они разгуливать после смерти.

Горящий фитиль выхватывает из темноты подол, подол бьется о голенища валенок. Быстрая походка, справная женщина. Но это не Ольга, это всего лишь Тамара. Совершает контрольный обход. Контролирует пунктуальность заблудших душ. Интересно, где она раздобыла фонарь? Божьи дары вроде с неба не падают. Все надо организовать собственными руками. Молодец девушка.

Тамара, его стража ночью и днем, осталась стоять посреди дороги как раз напротив того места. И свой приход, и появление божьего дара она не объяснила ни единым словом. Она просто подняла фонарь на уровень головы. Хочет ли она мне посветить? Или хочет указать путь домой? Редер pokrыл голову и снова поднял с земли свой инструмент. В неверном свете фонаря непомерно разросся засохший березовый сук, раздался в стороны могильный венец — косо надетая каска. Только безрассудные смельчаки так лихо сдвигают каску на затылок. Они сами со смехом идут на смерть и других увлекают. До чего надо пойти, чтобы испытывать стыд за своего мертвого сына.

«От рождения, — сказал себе Редер, — мальчик был вовсе не из безрассудных смельчаков. Он бы тоже предпочел стать специалистом по сельскому хозяйству». Произнося вслух эти слова — и пусть Тамара думает все, что ей заблагорассудится, — он положил каску на прямоугольник, отмеченный земляными глыбами. Девушка двинулась в путь. Мужчина за ней последовал. Стараясь все время держаться на шаг сзади. Слабый свет фонаря очерчивал шаги обоих.

— Будет оттепель, — сказала девушка.

— Хорошее дело — такой фонарь, — сказал мужчина. Он надеялся узнать, где она раздобыла фонарь, и потому чуть сократил расстояние между ними.

— Одновременно было принято решение, — услышал он в ответ, — что немец не должен ночевать под одной крышей с нашими людьми. Принято единогласно.

Тут он снова приотстал на шаг. Даже больше чем на шаг. Девушка продолжала, чуть понизив голос:

— Это от Ольги Петровны. Плюс полбидона керосину. Один голос против. Голос свекрови, разумеется.

Слушая эти тихим шепотом произнесенные слова, он подошел к ней почти вплотную. Пускаться в подробные объяснения насчет той, которая в эти тяжелые времена безвозмездно отдает другому фонарь и полбидона керосину, девушка, судя по всему, не собиралась.

Мужчина же расценил ее молчание как несправедливость, эгоизм, каприз. И шел теперь, чуть не наступая ей на пятки. Лучший способ защиты — нападение. Оно же и лучший способ узнать больше, чем знаешь.

— Итак, под одной крышей с вашими людьми нельзя. Возникает вопрос: а ты, соседка, ты сама-то из каких людей?

Девушка зашагала быстрее. Казалось, последние слова ударили ее, будто хлыстом. Он решил поднажать. Раз противник дрогнула, поднажать стоит. Чтобы добиться ясности. И вдруг он услышал, что девушка всхлипывает, зажимая себе рот платком и ладонью. Не хочет, чтобы он слышал. В таких случаях под дверью не подслушивают. Не принято. Зря он назвал ее «соседкой». Она ведь рассказывает, что злые люди ее сторонятся. Значит, по крайней мере я не должен ее обижать.

— Ты прости, Тамара.

— Все вы немцы свиньи, все до единого.

Ну не говорил ли я тебе, мой мальчик: нам надо держаться вместе. Холод стал сильнее, вынести его человеку не под силу. И нечего ждать оттепели. Для нас ее больше не будет.

За голенищем торчит нож. Под шинелью на ремне висит топор, пила перекинута через плечо, лезвие и зубья. Бог, который создал железо, хотел, чтоб на земле не было рабов, а тем паче мужчин, которые среди ночи позволяют хрупкой девушке обзывать их свиньями. Пора показать, чего ты стоишь. Проявить достоинство. Все время соблюдать дистанцию. Не менять ее — ни на один шаг, ни на десять шагов. Пора уразуметь слова, которые много раз говорил нам наш лейтенант, когда мы сидели в котле: горе побежденным!

Итак, соблюдая дистанцию, Мартин Редер, военнопленный, сельскохозяйственный рабочий, храбрый немецкий вояка, следовал за девушкой с фонарем, за своей соседкой и товаркой по несчастью. Шел упоенный и вдохновленный сладким, разбавленным отечественным вином самоуверенности. Степная ночь казалась безотрадной, как темная долина.

— Осторожней, болван! Ты что, хочешь ноги переломать?

Девушка остановилась и упрямо его поджидала. Когда, наконец, решившись сократить бесконечную дистанцию, он подошел на расстояние вытянутой руки, она подняла фонарь.

— Погляди на меня, немец, погляди внимательно. Можешь ли ты сказать, что я похожа на буржуазную дамочку? Что у меня холеная кожа? И заносчивое выражение на напруженном лице? Ты сказал, что мое лицо напоминает тебе колючую проволоку. Это ты честно сказал, подло, зато честно. Но ты ошибся. Нашим людям видней. Наши люди называют меня «немецкой дамой».

За оставшуюся часть пути строптивая девушка поведала все, что с ней приключилось в войну. Их деревню эвакуировали слишком поздно. Женщины и дети просто бежали кто куда. На третий день пути их обстреляли в чистом поле немецкие самолеты. Были ранены, были и убиты. Среди убитых — трехлетняя дочь Ольги Петровны. И вот когда поднялась паника, тетя Марфа одна сохранила ясную голову. У нее были тогда красивые черные волосы. Она велела тем, кто ранен либо выбился из сил, а также женщинам с маленькими детьми возвращаться назад, за линию фронта. И возложила на нее, Тамару, ответственность за возвращение. Тамара отказывалась, но ее даже слушать не стали. Во-первых, она говорила по-немецки, во-вторых, была дочерью Игнатьева.

В их деревне располагалась интендантская часть. На фольварке оборудовали авторемонтную мастерскую. Всего в деревню вер-

МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ ■ СОЛДАТ И ЖЕНЩИНА

нулось девять женщин и двенадцать детей. И еще Тамара. Немцы разместили их в трех домах на краю деревни. Вернуться в собственный дом никому не позволили. Женщинам велели стирать белье, чистить картошку, носить тяжести. Кто не работал, все равно мог он работать или нет, тот не получал пайка. За воровство полагалась виселица. Тамара, как переводчица, подчинялась непосредственно коменданту, некоему капитану Кэтчу. Это был бравый вояка из резервистов, владеец кукольной фабрики. Несмотря на протесты девушки, он освободил ее от работы и назначил надсмотрщицей и одновременно своей учительницей русского языка. У него был при себе учебник, где еще встречалось обращение «господин». И был приемник, похожий на кукольный шкаф. Приемник весь день играл в канцелярии — бывшем доме правления, а весь вечер до поздней ночи — в квартире капитана, бывшем доме тети Марфы. Там и снаружи, под навесом, шла пьянка и гуляба. Когда господа упивались до чертиков, капитан ловил Москву, вызывая Тамару и приказывал ей переводить. Господа катались от охота, слушая последние известия. Несколько раз капитан вызывал девушку к себе, когда был один. Чтобы вознаградить Тамару за уроки русского, она научила ее играть в шашки. Когда началось контраступление, деревня за три дня дважды переходила из рук в руки. При этом погибли четыре женщины и двое детей.

Из тех же, кто вернулся после освобождения — а это была примерно половина тех, кто покинул деревню, — остались лишь немногие. При малейшей возможности устроиться у родственников либо друзей в менее разоренных или вообще не разоренных областях люди уезжали. Тетя Марфа вернулась вся седая.

— Как вам жилось? — Тамара много для нас сделала! — Тамару не посылали работать. — Тамара дневала и ночевала у немецкого капитана. — Да, да, порой и ночевала. — Она говорит, капитан заставлял ее играть с ним в шашки.

В подвале под сгоревшим домом был обнаружен сундук капитана, а в нем шахматы, учебник русского языка, домашние туфли, записная фуражка, французские духи и две пары шелковых дамских штанишек. Тетка с помощью кочерги извлекла шелковые улики, после чего зачитала по учебнику русского языка урок-приговор. Раздел «порядковые числительные»: «Сотая деревня. Семьдесят четвертая пленница. Восемьдесят шестая женщина. Тридцать седьмая девушка — молодая дама. Шестидесятое дерево — дуб»...

— После этого мне уже никто не верил. Даже Ольга и та во мне усомнилась. Еще немного — и они вздернули бы меня на ближайшем дереве. За недостаточные успехи в русском языке. Я понимаю наших людей. Не думай, немец, что ты можешь иметь с нами хоть что-то общее.

— А если бы ты могла от меня избавиться, все равно от живого или мертвого, это оправдало бы тебя в глазах твоих людей?

— Не знаю. И не стану пробовать. Хотя, скажу по совести, идея соблазнительная.

Этой ночью не ширяли под крышей совы. Им мешал свет фонаря. Зато полуодичавшая собака была рада свету из дома. И решила не подпускать к хозяевам непрошенных гостей, для чего заняла караульный пост возле спального ящика. Девушка прогнала собаку прочь, чтоб не напускала блох. Рёдер сперва усмотрел в этом намек на своих вшей. Потом — на свои мысли. Он снова подумал про великий вселенский холод, который стал сильнее, чем может вынести человек. Но почему она в этот раз не потребовала у него нож? После злых признаний по дороге?

Собака убралась и неподалеку от овина завывала. В сыром воздухе собачий вой звучал глухо. Девушка уснула, но спала беспокойно, металась, и это доказывало, что она действительно спит. Мужчина встал еще раз, до предела прикрутил фитиль. Когда керосину всего полбидона, с ним надо обходиться бережно. Пузатое стекло фонаря раскалилось. Он положил руки на проволочное ограждение фонаря. Загляделся на огонек. Огонек был зубчатый, желто-красный. Словно первый гребешок у молодого петушка. Если бы девушка сейчас проснулась, она сразу бы подумала, что я высиживаю петушка, как наседка. А я ничего не высиживаю, я просто грею свои растрескавшиеся лапы. Мария не подпускала меня к себе, если у меня были холодные руки. Холодными руками даже тесто не замесишь, а уж ко мне в постель с такими руками — и думать не мочи. Боженка, дорогой, дохни своим холодным дыханием на мои руки, не вводи меня в искушение, дорогой боженка.

Человек торопливо повесил фонарь на крюк, чтобы свет падал сверху. Он лег, стараясь лежать строго на спине, потому что эта поза расслабляет и позволяет забыть о многом. Он лежал и неотступно думал: когда-нибудь станет светло, и внушал себе, что с каждой минутой он становится все тяжелее. Но вместо того чувствовал, как с каждой минутой становится все легче, вообще теряет вес. В чем дело, почему одна рука холодная, другая — горячая? У него начинался самый настоящий озноб. Все силы он употребил на то, чтобы не разбудить спящую девушку, чтобы незаметно для нее справиться с этой напастью. Для него болезнь означает отpravку в лагерь. Бабам из деревни это будет только на руку. Когда станет светло, я поднимусь и разожгу огонь.

Но раннее утро, равно как и позднее, Рёдер метался в жару. Его стоны и бред заставили девушку вскопичить. Перво-наперво она побежала к колодезю. Для начала хорошо попробовать холодные примочки. На лоб — компрессы, вокруг икр — обмотки. Ольга в этом больше разбирается. Она уже вылечила не одного барашка.

Жар проложил свежие борозды в прошлое. Рёдер снова увидел себя в блиндаже, на склоне Мамаева кургана. Снова пережил прямое попадание. Бревна тройного настила разлетелись как перышки. Открылся красивый вид на Волгу. По воде заплясали фонтанчики. Весь склон усыпан красными ромашками. Луна-парк да и только. После всех чудес начинается атака. Парочки, парочки. Заткни свое поганое хайло, господин лейтенант. Все в укрытие. Воронка опрокидывается на нас. Как же нам выйти? Балка придавила ногу. Приходится пожертвовать сапогом. Эка важность! Мюллер и вовсе пожертвовал целой ногой. Фонарь погас. Взрывная волна все перевернула. Дверь блиндажа, господин лейтенант, дверь блиндажа открыта. Рёдер, сейчас к нам придут гости. Накрой стол для кофе. Слышишь, они поют. Я не могу вытащить ногу из этого дерьма. Терпение, мой друг. Спасение близко. Сейчас вниз по склону покатаются гранаты. Хорошо, ты привезла бинты, Тамара. Ты просто ангел. Ой, суп убежал! Все намокло. Господи, это ж надо! Граната закатилась вам под живот. Да оторвите же, наконец, задницу от земли. Не уходи, Тамара, я рано или поздно выберусь из этой давиальни. Вот и лейтенант выбрался. И дым поредеет. Будет контратата, и нас отобьют. А сапог — тютю. Хорошо хоть, что у тебя есть бинты. В брюхе бурлит и клокочет. Потом остынет, ничего, потом остынет. Не делай, пожалуйста, такие испуганные глаза. Сорняк, он живучий...

Тамара, где ты, Тамара? Неужто она убежала за врачом? Идет весна, пора снимать кассу. Опять до этого дошло. Я уже лежал в больнице как раз об эту пору. В терапевтическом отделении, в пятой па-

лате. Мария тоже, помнится, устроила панику из-за ерундовой температуры. Придется вам недельки три полежать, господин Рёдер. Мое почтение, господин доктор, но только здесь меня и десять лошадей не удержат. Здесь пахнет мочой и покойниками. Пропишите мне лучше свежий воздух, господин доктор, свежий воздух, движение, разминку. Вот и Лазарь, помнится, тоже в два счета размялся. Взвалил постель себе на плечи и давай бог ноги. Тогда считайте, господин Рёдер, что вас вывели на свежий воздух. Только не забудьте по пути домой заглянуть в похоронное бюро заказать себе гроб. Эх разважничался. А Рёдер за разговором накинуд куртку и через три дня снова чувствовал себя, как рыба в воде.

Он снял со лба компресс, он разматал обмотки с ног. Лыняное полотенце, две половинки лыняной дамской сорочки. Вот сумасшедшая баба; сама ведь признается, как соблазнительна для нее мысль избавиться от меня не мытьем, так катаньем. И тут же разрывает пополам свою последнюю рубашку — на компрессы для немца. Ох, если проведает добрая тетечка! Тамара приготовит завтрак. О, девушка, ты еще удивилась, бедный Лазарь натянул сапоги и встал, словно могучий дуб.

Но никакой Тамары нет, и вообще поблизости ни души. Лежит в сыром тумане заброшенная стройплощадка фольварка. Не зажжен огонь, не стоит на огне вода для чая, не оставлено никакой записки. Могучий дуб рухнул на скамейку возле очага. Видно, девушка очень торопилась. Побежала со всей скоростью, на какую только способны ее стройные ноги в толстых чулках. Прямоком побежала в деревню. Ура, тетечка! Немец горит в жару, немца надо в лазарет. Ведь вот как можно обмануться в человеке! Ну, давай возвращайся с дорогой тетечкой и с колымагой для доходаг. А я раскрою свой учебник. Существительные. Прилагательные. Немецкий пленный. Русская девушка. Разорванная девичья сорочка, не забудьте прихватить кочергу. Чтоб подцепить улики.

Жар заглушает голод. Но не жажду. Человек пошел к колодезю и выпил полный котелок ледяной воды. Большими глотками. Какая благодать, какая благодать. Все вы, немцы, свиньи. Ты права, девушка. Трижды проклятая война. Она пробуждает в человеке скотские мысли. Человек вернулся к очагу. Нащепал лучины. Смел золу. Лучина тлела, но вспыхивать отказывалась. У сырого дерева нынче гадкое настроение. Оттепель воздействует на психику.

Итак, начнем! Крепко в землю врыт... Как там дальше? Пусть со лба течет твой горячий пот. Блаженство тому, кто живет в доме. Каменные дома — они самые прочные. А доски пусть идут в деревню. Пусть себе. Я ж не жадина какой, я ж не вырываю у людей кусок из рта. Я и сам себе пособить сумею. Шесть метров на три. И ни на пядь меньше. Камня здесь хватит. Глина недурно заменяет цемент. На холме почва сырая. Значит, глина есть. А может, и мел где-нибудь сыщется.

С помощью трехметровых досок человек выложил по прямой очертания своей хижинки. По углам он прорыл в земле дыры. На толщину ладони почва уже оттаяла. Лишь забив в землю четыре пограничных столба, человек успокоился. Нет занятия прекраснее, чем прикидывать размеры своего будущего дома. Нет вида прекраснее, чем вид готового собственного дома. Мужчина забрался на полурухнувшую печь посередине огороженного участка, чтобы сверху полюбоваться на свое царство. Один из печных углов был в целостности и сохранности. Покуда Рёдер стоял на лежанке и видел мысленным взором стол и скамью, кровать, и полку, и даже гвоздь на стене, чтоб вешать скамеечку для снятия сапог, у него вдруг потемнело в гла-

зах, он хотел было вытянуть вперед руки, как вытягивают слепцы, но не смог вытащить их из карманов шинели. Несмотря на теплую погоду, он все еще ходил в тяжелой шинели. Когда у человека небольшая простуда, достаточно не снимать куртку во время работы, и через три дня все пройдет. Словно скованный по рукам и ногам, он рухнул вниз с самой высокой башни своего царства. Камни засыпали участок.

Лишь час спустя явились люди, которые искали его и нашли. Девушка — Тамара, женщина — Ольга Петровна и ребенок, мальчик с винтовкой. Мужчина являл собой достойную жалости картину. Отчасти естественную, отчасти же престранную. Уже после падения, пытаясь как-то облегчить свою участь, он залез на одну из столь высоко им ценимых трехметровых досок, но чтобы уберечься от холода, уложил доску на два подвернувшихся ему кирпича. Теперь сам он лежал примерно на пядь приподнятый над землей, один кирпич лежал ближе к концу доски, под головой, другой — посредине, там, куда прилипли подколенные ямки лежащего. А все же вместе взятое — мужчина на доске и доска на низких каменных козлах — возвышалось подобно катафалку перед полуразвалившейся печкой посреди обмеренного домашнего гнезда. Словом, как уже говорилось, это была картина, достойная жалости, отчасти естественная, отчасти престранная. Смотри на чей взгляд.

Старый Давид Бромбергер, к примеру, доведись ему увидеть эту картину, возможно, сказал бы: Мартин, Мартин, что ты валяешься дурак-дураком перед печкой, будто подгорелый пряник на противне. Мария, та бы, к примеру, бранилась: Господи, тебя ни на минутку нельзя оставить одного. Тамара бранилась еще сердитее: Это что за фокусы! Взгромоздился на стол, как покойник, да еще важничает, как духовная особа, да еще пыхтит, как лошадь. А мальчик, ребенок с винтовкой, тоже ругался: Немец только притворяется. Ольга Петровна некоторое время молча стояла в нескольких шагах от него. Потом она подошла вплотную и сделала нечто неожиданное: она осторожно наступила ногой на свободный конец полупокойничьего катафалка (свободный — если не принимать во внимание лежащие тут же ноги противовеса). Пока один конец доски с мужчиной медленно поднимался кверху, а другой, со стоящей на нем женщиной, медленно опускался, независимо от того, с какой целью был затеян этот опыт, стало ясно, насколько истощен лежащий мужчина. Ведь женщина, со своей стороны, тоже возложила на весы лишь скудные военные килограммы. А мужчина, который оказался легче, ко всему еще был в тяжелой шинели. Достигнув вершины своего чудесного вознесения, немец на мгновение открыл голубые глаза. И снова на тысячную долю секунды встретились взгляды мужчины и женщины под знаком Весов, в созвездии благосклонности.

Девушка прикрикнула на него:

— Ты почему, дрянная такая, встал, хоть я тебе велела лежать!?

— Мне никто ничего не велел!

— Скажешь, я не говорила, что пойду к Ольге Петровне, что она уже не одного барашка вылечила.

Ольга Петровна осторожно сошла с весов. Голос Тамары звучал все так же свирепо:

— Кто это тебя так изукрасил?

— Никто. Я поскользнулся. Перед похоронным бюро. Мне не следовало смеяться. Вот почему я и поскользнулся.

Девушка перевела и добавила, что немец снова бредит. Женщина повернула лицо мужчины разбитой стороной кверху. Потом ошупала его руки, ноги, ребра, отыскивая переломы. Мальчик, наблюдавший это, мог бы подумать, что мать ищет, не спрятано ли где у немца ору-

жие. Как тогда. Он постукал обыскиваемого ложем приклада по наружным карманам кителя. И не безуспешно. Длинные гвозди! Но мать пропустила мимо ушей донесение сына. А гвозди, они всем нужны. И отвергнутые матерью трофеи тотчас перекочевали в карман мальчика. После чего он прислонил винтовку к печке. Его солдатская честь была жестоко уязвлена. Тамара отыскала тем временем ведро подле очага и принесла свежей воды. На скуле и над ухом у немца зияют настоящие раны. Мать протерла края ран какой-то льняной тряпкой. Когда мальчик увидел в глубине раны что-то белесое, он стиснул зубы. Он не видел, как залилась краской Тамара, когда мать, отжав тряпку, встряхнула ее и снова приложила к ране. Мать сказала, что порой удается сбить высокую температуру холодными ваннами. Тогда мальчик тоже вдруг покраснел, неизвестно почему. Должно быть, до немца как-то дошло, что с ним собираются делать. Он застоялся. Тут уж Тамара включилась на полную громкость и по-русски закричала на ухо немцу, что они его, болвана, привяжут на веревку, словно телка, и три-четыре раза окунут в колодезь, чтобы он прочухался. И тогда все будет в порядке. Тамара прокричала и еще что-то по-немецки. Возможно, то же самое. Но этот болван не понял даже того, что понимают дети. Маленькая сестричка давно бы все поняла, но ее убили немцы.

Барашка, который занемог, они, возможно, тоже на веревке опускают в холодную, как лед, воду. У русских все возможно. Я их знаю. Они в двадцатиградусный мороз ходят без перчаток. Ольга, Ольга, зачем ты вытираешь мне нос. Я сбежал из больницы. Я растянулся перед похоронным бюро. Ты только представь себе. И уж то-то я смеялся, то-то смеялся... Смех его звучал совершенно как плач.

У торфяного склада стояли сани. Женщина указала на них кивком головы. Девушка пошла за ними. Мать велела мальчику помочь Тамаре. Сама она встала и спросила по-русски: «Как дела?»

Мимходом, как обычно спрашивают знакомых при встрече. «Госпиталь нет», — взмолился мужчина. Дыхание у него было бурным и прерывистым. Женщина взяла мужчину за руку и принялась считать пульс.

Тамара с мрачным видом притащила за оглоблю сани, а мальчик тем временем обнаружил стальные устои ветряного колеса, вполне пригодные, чтобы на них карабкаться и лазать. К чему вся эта петрушка, к чему сани! Почему немец не может пройти пешком. Вот сегодня утром, когда ему даже велено было лежать, он все равно встал. Чтобы оборудовать для себя персональное кладбище. Именно возле печки. Когда-то это была Ольгина печка. Потом наша. Он изо всех сил старается, чтобы мы считали его своим. Но между нами нет больше ничего общего. Ни в жизни, ни в смерти. Он говорит, что был крестьянином. Нет, он хуже кулака. Он был кулацким прихвостнем. Когда ты говоришь, Ольга, что он человек, я могу только ответить, что люди бывают разные. Что у немцев люди все вымерли. Они могут умильно посмотреть на тебя, а думают при этом о колючей проволоке. И речи быть не может, чтобы Ольга взяла его к себе и изображала при нем сиделку. Ольга доверчивая женщина. Да и сердце у нее не каменное. На голубые глаза и простодушие она полетит, как бабочка на огонь. Я ведь вижу, что вижу. Если она заведет с ним шашни, тогда ей среди нас больше делать нечего. Тогда жди грозы. Вот, она уже и за ручку его взяла.

Тамара злобно дергала и тащила санки по раскисшей земле. Да она еще вдобавок головку ему завязывает. Чужой рубашкой, между прочим. Ах, ах, какое бескорыстие. Ничего, Ольга, ты погляди, кто к нам идет! Тетечка Марфа с лошадей и телегой, и с твоей свекровью,

и еще с кем-то. Значит, старуха сгоняла в деревню и подняла там тревогу. Ольга, вероятно, этого ожидала. Она преспокойно накладывает повязку. Быть беде, быть беде.

Вставай, немец! Эй, немец, вставай! Если ты сию же минуту не встанешь и не начнешь работать, мы тебя сдадим куда следует. Как приняла, так и сдадим. Давай сюда документики. Сейчас к нам преподает тетя Марфа.

Тамара хотела просто сбросить больного с доски. Ольга не допустила такого варварского обхождения. Но угасающее сознание Редера сработало на пароль «Тетя Марфа». Он с мучительным трудом, шатаясь, встал, ощупал повязку, углядел на земле свою шапку, нагнувшись за ней. В голове была многотонная тяжесть. Он сумел поднять шапку, надеть ее, закрыть повязку, но встать больше не смог и, тяжело дыша, остался на четвереньках. Мальчик уже засверкал пятками навстречу идущим. Забыв свою винтовку. Неизвестно почему женщина повесила винтовку себе за спину. Ишь ты, Ольга тоже умеет хитрить. Впрочем, мальчик уже начал что-то горячо рассказывать. Дети и глупцы говорят правду. Да от Марфы и без того ничего не укроется. Она способна отыскать иголку в стогу сена. Даже когда никакой иголки там нет. А уж тут будь здоров какая.

— Садись в сани, немец. Скажешь, что вчера переработал. И ничего не будет.

Немец со стоном вступил на предложенный ему золотой мосток. Девушка ему помогала. Когда мужчина уселся наконец в заднем углу саней, прилагая невероятные усилия, чтобы не упасть, девушка сунула ему в руки кирку. Тем самым он получил якорь на тот случай, если сани захотят унести его вдаль. Прежде чем лошадь тронула с места, женщина на одно мгновение положила руку на плечо девушке. И посмотрела ей в лицо. Не дольше мгновения. Девушка ответила спокойным взглядом. Ну-с, что скажете, Ольга Петровна?

Редер увидел неподвижное колесо телеги. Увидел средоточие спиц, ступицу, железные ободья, железную ось, чеку в железной оси. Поскольку все это виделось ему вполне отчетливо, он рискнул поднять взгляд. И увидел валёк, и кольца, и крючья. Увидел путы и задние ноги лошади. Наконец-то они почистили лошадь скребницей. Внимательно разглядывая мелкие предметы, он хотел в этом разглядывании обрести силы, защититься от рослой седой женщины, которая наверхника стоит в передке телеги — хозяйка над жизнью и смертью, власть. Себя Редер чувствовал жалким и маленьким. Рабский страх придавливал его к земле. Оттого, что разбитая голова пылала жаром, он казался себе выплюнутой косточкой от вишни. Но, возможно, в первый раз в жизни осознал, что из выплюнутой косточки вполне может вырасти новое дерево. Это открытие потрясло его. Вот какие мысли кружились у него в мозгу, хотя выражены они, возможно, были другими словами.

Я должен встать. Я должен работать. Я должен суметь. Нет ничего невозможного, когда есть твердая воля. Наш мальчик, помнится, читал однажды такую историю. Про одного пирата, который прошел еще семь шагов. Семь шагов без головы. Голову ему только что отрубили на плахе. Ведь куры и петухи тоже способны перелетать без головы через забор. Я должен встать, должен работать. Человек встал. Седая сошла на землю. Его мучительные усилия она удостоила лишь холодным взглядом. Все нормально. Все в порядке. Две другие женщины тоже сошли на землю. Первая — свекровь Ольги. Тоже зубастая бабка. Вторая — изможденная женщина, у которой три девочки и тощая корова. Господи, она разворачивает фартук и достает из него глиня-

ный горшочек. Чтоб я взял. Поест. Горшочек еще теплый. Тамара с готовностью переводит:

— Потому что дети очень радовались. И потому что каша-размазня очень хороша при высокой температуре.

Ольга перевесила винтовку. Это ведь не детская игрушка. Да и не женская. Ремень давит ей на грудь, она подсовывает под него палец. Мальчишка украл хлеб из кладовой. Женщины этого не видят. А я вижу. И он видит, что я вижу. Ничего, парень, я тебя не выдам. Считай, что я ничего не вижу.

Стоя есть неприлично. Твердая воля удерживает его на ногах, ровно столько времени, сколько требуется, чтобы поблагодарить за внимание по всем правилам. Зря вы, мол, беспокоились. После чего он от радости и следуя все тем же правилам приличия, опускается на угол саней. К ячменной размазне дарительница принесла также деревянную ложку. На свете больше добрых людей, чем можно подумывать.

Они принесли мне горшочек сладкой каши. Каша варится, бежит через край, и, чем ее больше есть, тем ее больше становится. Сейчас осматривает мою работу. Дверь чутко скрипит. Надо будет ее смазать. И оси тоже надо подмазать. А крепильные брусья можете смело грузить на сани. Все равно постройка завершена. Остальные доски вы со временем тоже получите. Нынче такие доски на вес золота. Вот так-то: «Тамара, скажи ей, что это была не каша, а мечта! Иди сюда, лошадак».

Лошадь взвилась на дыбы, когда он хотел взять ее под уздцы. Такая грубая хватка была ей непривычна. Криками «Балуи! Осадил!» Рёдер отгеснил лошадь, так что задок саней ударился о доски. Женщины что-то между собой обсуждали. Говорила Ольга с седой. Ольга говорила, седая могла головой. Молчала бы ты лучше, Ольга. Это ты ни одному человеку не сможешь объяснить. Это не случайность и не счастье, не провидение и не каприз, это нечто вроде медовой желчи, это то, чего никто не знает. Берегись, ты еще восстановишь против себя родного сына. Вот уже свекровь прижимает его к себе, словно мальчика необходимо оградить от родной матери. Лошадь, у тебя глаза стали будто сапожные гвоздики. Погоди-ка, у меня кое-что для тебя есть. Сегодня утром мне стало плохо. А отрезаны были два куса хлеба. Первый я отложил на потом, другой вообще спрятал. Не съел ни одного. Первый кусок нашел мальчик. Второй получишь ты. Мы с тобой никогда еще так не кутили.

Рёдер начал кормить вечно голодного обжору крошками. Надо было получше распределять, дорогой мой! Пока Рёдер силится вспомнить про себя этот приговор, температура второй раз за этот день дала свечку. И он рухнул наземь, к лошадиным ногам. Когда лошадь увидела, что человек упал, она выбрала мягкими губами остатки хлеба из его рук.

Ни одна из женщин не вскрикнула от страха, ни одна не подбежала, чтобы помочь человеку, потерявшему сознание. Подошла только Тамара. Да и то не спеша. И занялась упавшим так, словно то валялся среди дороги подгулявший кучер у ног своей лошади. Для начала она подняла голову лошади. Потом сделала то же самое с человеком. Видя, что это не помогает, она все так же не спеша принесла ведро. От брызг холодной воды больной хоть и не совсем пришел в себя, но во всяком случае застонал. Остальные женщины невмешивались. Ольга сердилась. Больной — он всегда больной. А Тамара просто дура. Зачем она внушила ему такой смертельный страх перед Марфой? Просто дура. Спору нет, Марфа нетерпима, и озлоблена, и сурова, и непреклонна, но не зверь же она. Да, Марфа настоя-

да, чтобы никто из нас не давал немцу приюта. Наши солдаты были бы счастливы, будь у них такая крыша над головой. И Марфа же настояла, чтобы ответственность за немца взвалили на Тамару. Она хочет дать Тамаре возможность заглядеть свою вину. Доказать, что Тамара виновата, не может никто. Думать, что виновата, могут все. Вероятно, и сама Тамара уже так думает. Ну ладно. Хочет оправдаться в глазах людей — ее дело. Только не надо так злиться, если по какой-нибудь причине у нее отнимут эту возможность. Она злится даже на высокую температуру. Она лезет вон из кожи, чтобы доказать, что разбирается в обстановке лучше других. Ее задание состоит в том, чтобы поладить с дьяволом. Но в глубине души она прекрасно понимает: ей достался никакой не дьявол, разве что дьяволенок. Впрочем, она даже себе самой не решается в этом признаться. И Марфе — нет. Вот мне — пожалуйста. Сперва признается, а потом не может простить себе самой, что призналась. Зато награду за признание, фонарь, она приняла из моих рук, сияя от радости. Ах, девочка, девочка, да не дергай же ты его так грубо. Не швыряй его на сани, словно падаль какую. Не попирай свою природу из страха. Из одного только страха сделать что-нибудь не так, как надо. Именно сейчас, в войну, такой страх стал для нас непозволительной роскошью.

Свекровь помчалась в деревню, к Марфе, и там вне себя, задыхаясь от возмущения, рассказала, что Ольга намерена взять к себе немца, которого вдруг скрутила жестокая лихорадка, взять, значит, и держать до тех пор, пока он не выздоровеет. Марфа же привыкла действовать без проволочек. И при этом, если выходит, соединять неприятное с полезным. Поставить на место зарвавшуюся Ольгу и заодно привезти досок. Словом, Марфа Ивановна действовала по принципу: сие надлежит делать и того не оставлять. Фура стояла вплотную к штабелю. Женщины грузили на нее доски. Девушка навалила на больного оба одеяла. Аккуратный немец даже сегодня утром не забыл упрятать свои одеяла от мышиных зубов. Женщины не глядели в его сторону; Мальчик исследовал лопасти ветряного колеса, прислоненного к уцелевшей стене склада. Под голову больного Тамара подложила свое собственное одеяло. Приказ тети Марфы гласил: трогать больного с места сейчас нельзя. Пусть отлеживается во временной конюшне, где фашисты расстреляли двух раненых радистов. Тамара пусть за ним ходит. Прокорм больного берет на себя деревня. Ольга Петровна в случае надобности даст консультации. Если только она не ошиблась, мы имеем дело с обыкновенным воспалением легких либо плевритом. Через две-три недели все пройдет. Фашисты — они живучие. Как кошки. Но Ольга Петровна все-таки не врач. И может быть, мы имеем дело с холерой или тифом. Нет, Марфа Ивановна, не может быть. При холере температура падает и пульс слабый. Кроме того, в марте, апреле и мае холерой не болеют. Тиф, правда, начинается с высокой температуры, но при тифе бывает рвота и понос. И сыпь на коже. И по глазам его тоже можно угадать. Ольга говорит очень уверенно, тетя Марфа еще увереннее: Посмотрим, посмотрим. Время покажет. А законы надо соблюдать. При подозрении на инфекционные заболевания больных помещают в изолятор. Чтоб никаких контактов. Кроме Тамары. Да и Тамара — только в случае крайней необходимости. Ясно тебе? Да, тетя Марфа: Если помрет, ну что ж, мы сделали, что могли. В деревне подтвердят. Если состояние ухудшится или он не сможет больше работать, отправим его в госпиталь. Только без лошади и без телеги. Лошадь нам и самим нужна для весеннего сева. Просто кто-нибудь стоняет на своих двоих и попросит прислать за ним машину. Лучше всего, чтоб Ольга Петровна. Она у нас знает все ходы и выходы.

МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ ■ СОЛДАТ И ЖЕНЩИНА

Кто «за», прошу...

«За» оказались три женщины из пяти, а именно Марфа, Ольгиня свекровь и Тамара. Женщина, которая принесла больному горшочек размазни, сказала, что не может решить так сразу, а Ольга Петровна сказала, что весь овин — это сплошной рассадник инфекции и что для грязного белья лучшая стирка — огонь.

— Принято тремя голосами против одного и при одном воздержавшемся.

Итак, Тамаре вдруг вернули право голоса. От радости у нее на глазах заблестели слезы. Свекровь что-то втолковывала мальчику.

Ребенок тоже «за», сказала она под конец.

Тамара перекинула постромку саней через оглоблю груженой фуры, и весь обоз двинулся по направлению к овину. Марфа вела лошадь под узды, свекровь шла рядом, а Тамара направляла сани. Ольга взяла за руку сына и вместе с ним замыкала шествие.

Ольга, Ольга, скажи им, чего мне не хватает. Мне не хватает слов, одного слова. Оно вертелось у меня на языке. Уже тогда. Ночью. В степи. На том месте, где ты должна была меня расстрелять. Но не смогла. Когда ты швырнула винтовку в сани. На том месте. Теперь, Ольга, оно снова вертится у меня на языке. То слово. Которого мне не хватает. У него вкус горького миндаля.

Обоз достиг цели. Но больного еще не сгрузили. Тетя Марфа сказала, что желает осмотреть изолятор. Инспекция, говорит свекровь Ольги. А Марфа говорит, что бывают госпитали, которые много хуже, чем этот овин, для людей, которые много лучше, чем этот немец. Ольга говорит, что здесь нужно все продезинфицировать. Керосином. Тетя Марфа говорит, что керосином и так воняет, мочи нет. И чтоб Тамара внесла туда немца. И устроила себе постель в другом конце. Свекровь Ольги говорит, что у нее есть тонкая проволочная сетка. Немного. Для тебя, девочка. Для меня, значит, проволока. Ольга держится позади. Зажигает фонарь. Очень трогательно.

— Ты проиграла, Ольга.

— Да, девочка, теперь будем выигрывать.

Когда женщины вышли из овина, мальчик сидел на лошади и что-то шептал в лошадиное ухо. Бабушка сняла его с лошади. Марфа вдруг заторопилась. Тамара отцепила сани от фуры. Лошадь натянула постромки. Колеса закричали, мальчик пустился отыскивать мать, подбежал к входу в овин, но она сама вышла ему навстречу, неся в руке фонарь. Коптил расточительно высокий язычок пламени. Но стекла на нем не было. Ольга решительно взяла мальчика за руку, потом обернулась и швырнула в темное отверстие горящий фонарь. А внутри она, должно быть, разлила керосин. Те самые плабидона. Потому что там сразу зашипел и взвился кверху огромный язык пламени. Ольга не оглянулась. Не спеша, усталой походкой она побрела к саням. Мальчик хотел вырвать свою руку из ее руки, хотел остановиться, поглядеть на огонь, быть может, закричать, он и то уже чуть не свернул себе шею. Но мать не выпустила его. Слово глядеть было ровным счетом не на что. Свекровь пронзительно завопила, сорвала с головы платок, замахала им, как кнутом. Сухая солома жадно притягивала огонь. Юркие язычки уже бежали по наружным стенам. Из крыши валил густой, белый дым. Свекровь явно собиралась отхлестать Ольгу своим платком. Но, подскочив к Ольге и увидев, как спокойно та стоит, как выпустила руку сына, как мальчик тем не менее цепляется за нее, старуха в отчаянии закрыла платком лицо.

Прежде чем перекинуть через плечо лямку саней и со всей силой налесть на нее, Ольга вернула мальчику винтовку. Мальчик пошел за санями, которые тянула его мать. Семеня следом. Тамара стояла, будто окаменев, на том месте, где минутой раньше были сани. Тетя Марфа молчала и глядела на огонь. Из дыма вылетели две большие птицы и со злоещим криком унесли прочь. Женщина из деревни несколько раз осенила себя крестом. «Птицы смерти», — сказала Марфа. И так, приговор был произнесен. Она передала Тамаре поводья. Девушка успела еще услышать, как тетя Марфа на прощанье сказала Ольгиной свекрови:

— Ты была с ними в сговоре. Уйди с глаз моих.

Человек на санях по-прежнему силился отчетливо различать взглядом предметы. Но перед ним расплывалось светлое лицо мальчика. За лицом — неподвижный вороненый ствол. И еще он видел следы засохших слез на светлом лице ребенка.

И слова соотносение времен

В Волгограде, перед гостиницей на площади Павших Борцов, мы дожидались интуристского автобуса, чтобы ехать в аэропорт. Она пришла еще раз, та тихая, немолодая женщина, которая в дни нашего пребывания здесь показывала нам свой возрожденный город и места боев. Показывала со знанием дела и с любовью. Потому что лично участвовала во всем: санитаркой — в сражении, партработником — в восстановлении. А пришла она, по ее словам, потому, что забыла рассказать нам одну историю, которая может нас, как немец, заинтересовать. Она знает одного немца, попавшего в плен под Сталинградом, который навсегда остался здесь. Сегодня он советский гражданин, работает по скотоводству, пользуется уважением, женат, имеет двух взрослых детей и живет в деревне неподалеку. В свое время он с командой военнопленных проходил через сожженную деревню. И там одна крестьянка — его теперешняя жена — вывела его из команды под тем предлогом, что деревне нужна лошадь. Уж как ей это удалось — она вроде бы заставила всех пленных показывать ей свои руки — и что было потом, до конца войны, на этот счет все, кто должен быть в курсе, до сих пор хранят молчание. Человек, о котором идет речь, за все тридцать лет, что прошли после войны, ни разу не выразил желания повидать прежнюю родину, хотя он вполне мог бы позволить себе такое путешествие и наверняка получил бы визу. Вот что она и хотела рассказать нам, немцам. Она ручается, что все, рассказанное ею, чистая правда, но просит нас не пытаться узнать у нее имя либо адрес этого человека.

Учредительская литература, № 10 (октябрь) 1979, 1-288.
М. В. Шульц - Соргат и меншина (Повесть)
Дерево с нем. С. Фридрихенг.
с 3-78